

СИБИРИАДА

ТАМАРА  
КАЛЁНОВА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  
РОЩА

Сибиряда

Тамара Каленова  
**Университетская роща**

«ВЕЧЕ»

2012

## **Каленова Т. А.**

Университетская роща / Т. А. Каленова — «ВЕЧЕ»,  
2012 — (Сибириада)

16 мая 1878 года специальным постановлением Государственного совета Российской империи, в числе других тридцати девяти, был основан Томский национальный исследовательский университет – первое высшее учебное заведение в Сибири. А уже в 1885 году в университет на службу поступил молодой ботаник-флорист Порфирий Никитич Крылов. Именно благодаря его усилиям и самоотверженности Томский университет и поныне окружен уникальным природно-ландшафтным парком – Университетской рощей, памятником природы федерального значения. О тех далеких днях и событиях, связанных с созданием рощи, и повествует роман известной сибирской писательницы Тамары Калёновой.

## Содержание

Самосвет-трава	6
Милосердная песня	19
О чем думает река	31
«Град камен Тоболеск»	42
В Томске	48
Первое августа	58
Пожар	68
Конец ознакомительного фрагмента.	70

# Тамара Каленова

## Университетская роща

©Калёнова Т., 2012

©ООО «Издательский дом «Вече», 2012

©ООО «Издательство «Вече», 2012

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Самосвет-травя

Груженный берестяными коробами и корзинами обоз, подпрыгивая на засохших кочках, еще не разровненных под скатерть специальными катушками, медленно тянулся по Великому Сибирскому тракту. До вечера еще было далеко, но лошади и люди шагали так притомленно, что казалось: они вот-вот остановятся, упадут от усталости в пыльную придорожную траву и уж более не поднимутся.

Но это лишь только казалось. Все тринадцать подвод, повторяя колесами дорожные нырки, продолжали двигаться ниткой, одна за другой, все вперед и вперед, и возчики, бородастые мужики в потрепанных суконных армяках, терпеливо шли рядом. Так было и вчера, и позавчера, и десять дней назад. Так будет и завтра, до тех пор, пока не придет обоз на место, к положенному сроку, и подрядившаяся в извоз артель не выполнит всех кондиций по уговору.

Крылов ехал с головной подводой. На ней помещались его личные вещи – сундучок, обитый по углам кожей, палатка, чемодан с бельем и книгами, – а также кое-какая необходимая походная утварь и узелки с провизией, принадлежавшие артели. С этой же телегой следовал обычно передовик, старшой ямщик, которому и подчинялись остальные обозные.

Впереди показались избы.

– Успенка, – поворотил широкое, изрытое оспинами лицо Семен Данилович, старшой, и ожидающе посмотрел на Крылова. – Хорошее место, Никитич, все наголе. Люд смирный, мужичошки неудачливые. Одно слово, кислороты.

– Это как понять?

Крылов соскочил наземь – размять ноги. Он еще не решил, поддаваться ли на скрытое предложение об остановке, прозвучавшее в голосе передовика, или требовать двигаться вперед, до вечера. С одной стороны, мысль об отдыхе и ему была приятна, с другой – надо было спешить...

– А так и понимай. Кислорот – травя такая. Злючая. Скулу воротит, слюну прет. Ан здешние наловчились стряпать из нее напитки-наедки, жить как-то надо... За то и прозвали их кислоротами. Да вот глянь-ка, травка эта самая лопушится. Хорошая травка. Чесотку отводит, ожог снимает, кровь из кишкxв отсасывает.

Крылов нагнулся, отхватил пальцами у корня пучок остренских стебельков.

– Rumex acetosa, – сказал радостно.

– Чаво? – удивился Семен Данилович.

– Латинское название кислого щавеля.

– Ого, – с уважением глянул вниз возчик. – Я-т думал, кислорот и кислорот, а он, глянь-кось... ацетоза... Не наш, поди?

– Наш, наш, Семен Данилович, – улыбнулся Крылов. – Все, что в природе есть, наше, для общего блага. Только нужно знать и уметь пользоваться.

– Ты грамотяга, тебе видней. А я – обозный человек. Мое дело конюшить да грузы по тракту гнать. Нанял – я везу.

– Ну уж, зачем на себя наговаривать? – не согласился Крылов. – Твоя грамота поценней иной будет. Приметливый ты, Семен Данилович, много видел, о многом рассказать можешь.

– А толку што?

– Для меня толк есть. Учусь от тебя и товарищей твоих, чему возможно.

– Учишься? – изумился старшой.

– Учусь, – повторил Крылов, заметив недоверчивый взгляд Семена Даниловича.

На секунду он увидел себя в этих глазах... Здоровый, не изработавшийся в свои неполные тридцать пять лет человек, одетый в незаштопанную рубаху, темно-синюю куртку, напоминающую китель инженера-путейца, при новой фуражке с лакированным козырьком, на ногах проч-

ные яловые сапоги, шитые по мерке. Модная короткая борода, на переносице очки-защипы в серебряном станочке. Не зря другие возницы, несмотря на сердитые упробы, и по сей день величают его барином. Барин и есть, считают они. Ученый барин. Только и радости, что не злоязык, прост в обращении, на кормежные деньги не скуп да курнос и скуласт, как обыкновенный мужик. А там поди разбери, что у него на уме. Ученый ум – он простому человеку недоступен, в нем всякая утайка может быть. Хорошо, кабы не пакостная, не переверотливая...

Семен Данилович спохватился, увел маленькие зеленоватые глаза в сторону, неопределенно сказал: «Ну-ну».

Сбоку из канавки выставились розовые щитки тысячелистника, и Крылов, забыв о недоверчивом взгляде Семена Даниловича, спросил с детским любопытством:

– А эту траву как у вас прозывают?

– Деревей. Белым цветет – значит, мужицкая сила в ём. Розовый цвет – женская теплость.

Примета такая: увидел женский цвет – делай ночевье. Хорошо встретят, хорошо проводят. Опять же нонче пятница. Время баньку наведать, передохнуть, припасец пополнить. А встать и по заре можно. Наверстаем, Никитич, не сомневайся. Поболе отдохнем, поране встанем. Как считаешь?

– Ну что ж, – согласился тот. – Я не против. Ставь лагерь.

Семен Данилович сделал знак, ямщики оживились, защелкали ременные кнуты, лошади потянули сильнее, так, что у Крылова привычно сжалось сердце в тревоге за свой драгоценный груз, и обоз шумно втянулся в Успенку.

Великий Сибирский тракт рассекал ее на две части. Черные от непогоды, растрескавшиеся от лютых морозов бревенчатые дома по-острожному сурово смотрели на мир крохотными оконцами, кое в каких избах, что победнее, затянутых бычьим пузырем. Всё вокруг было подернуто серым налетом пыли. Казалось, деревня соседствовала с гигантской мельницей, которая невидимо вращала свои тяжелые крылья, без усталости посылая округу белесым сеевом. Да Сибирский тракт и был такой мельницей...

У редкозубых покосившихся отгородок копошились дети. Двое увязались за обозом: не обронят ли чего проезжие люди. А то, может, потребуется им какая-никакая услуга, и тогда расщедрятся они на скупое угощение... Тявкнула была худая пятнистая собачонка, но тут же умолкла, спряталась от сердитых вожжей. Дети тоже отстали, наткнувшись на хмурое молчание уставших путников.

Семен Данилович провел обоз через всю деревню, заприметив на выезде заведение. Это была неказистая избушонка, из стен ее неопрятными космами торчали клочки мха. (Вот она, Сибирь немшоная! Так и не научилась мшить, конопатить избы...) О том, что сие невзрачное сооружение служило заведением, в котором путник мог получить желанную осьмушку и щи, свидетельствовала высохшая ветка пихты над дверью и погрызенная коновязь на небольшой площади перед домом.

Лошади повернули к молодому кедрачу у обрывистой речушки. Семен Данилович строго проследил за тем, чтобы мужики поставили подводы на чистине, тесным полукольцом. Мало ли что может ночью случиться: лихоимцы или гулящие люди забредут, на упрятанный в корзинах груз польстятся. Береженого бог бережет. Без дозора и обзора на большом тракте нельзя.

Привычное и приятное для возчиков дело – ночной лагерь ставить. Каждый свою работу без подсказки знает: этому лошадей зарепившихся почистить, свести на водопой; этому за водой бежать; этому полог развернуть и сушняка заготовить. Всем хлопот хватит.

Крылов тоже без дела не сидел. Короткой лопаткой, похожей на солдатскую, расчистил место для костра. Дерновины с этой площадки сложил в штабелек под кедром: снимется лагерь, затопчут мужики последние искорки бивачного костра – вот и пригодятся дерновинки прикрыть выжженную плешь, залатать мирную лесную поляну.

Поначалу возчики посмеивались меж собой над чудачествами барина: лишнюю работу приискивает, и так-де лес не в обиде, эвон каким дуром прет... А потом привыкли. Пусть себе тешится. Ямки для мусора копает, плешины заделывает, в тетрадочку пописывает.

Над крыловским костром ямщики тоже попервости усмехались. Что за охота выкладывать березовые полешки торец к торцу, семиугольником?! То ли дело обыкновенный таежный кострище! Навалишь побольше сушняка, пару бревен под низ – и горит жарко, и одёжу сушит быстро. Но вскоре убедились, что и костер барина тоже имеет свои удобства. Ночью, когда нужно сторожить обоз, достаточно лишь подпихнуть бревешко к центру, и огонь стоит до самого утра.

В этот раз семиугольник получился особенно ловко. Березовые поленья, ровные и длинные, оставшиеся еще с прошлой ночевки, красиво белели на земле, и огонек уж домовито вился по скрученной сухой бересте. Вбить пару кольев, подвесить на перекладине котел... Вот так. Теперь и другими делами заняться можно.

Управившись с костерной постройкой, Крылов заспешил к подводам. Выискал опрокинувшийся поутру воз, ослабил веревки, стал осторожно снимать помятые корзины.

Помощники тут как тут – пегий дедок, числившийся объездным (ямщик, следящий за порядком в обозе), лёля Семена Даниловича, крестный отец значит, и щуплый костлявый отпрыск Акинфий, приبلудившийся к обозу еще на выезде из Казани.

– Ц-ц! Как размахонились, бедные корзиночки-те! – сочувственно зацокал дедок.

– Побыстрее шарaborься, – подстегнул его Акинфий. – Долго возжаешься. В деревню смотаться надо, посмотреть на ихние пугалища.

– А мне што, эт-мы живой рукой.

По говору Крылов давно определил – лёля из моголевских переселенцев: слова языком катает, словно оглаживает. Акинфий – коренной уралец; этот не гладит слова, а ломает, нарочно согласными чиркает, будто искру высекает. Скрытен парнишка. Скрытен и пролазчив. От такого всего ждать можно.

– Латать корзины придется, – объявил лёля озабоченно. – Вот эти четыре штуки. И короб. Дозволь прутье нарезать, барин?

Я в этом понимаю.

– Будь ласков, нарежь, – благодарно кивнул Крылов и обратился к Акинфию: – А ты холстину достань да вот здесь расстели. Я из корзин на нее выкладывать стану.

– Ваша воля, – вихрем снялся быстрый на ногу парнишка.

Без промедления вернувшись, он разбросил ряднину, для видимости потоптался минутую – и затем исчез, будто провалился.

– Никитич, а и де ты? – из-за деревьев донесся зычный голос старшего.

– Здесь я, здесь, Семен Данилович. Что случилось?

– Вопрос есть, – подошел тот вразвалку. – Как насчет отлучки будет? Отпустишь в деревню похарчевать и помыться, али при тебе сядем?

– Зачем же сидеть? – Крылов проморгал от соринки голубые глаза, воспаленные от многодневного раздражения жарой и пылью, улыбнулся дружески. – Ступайте. По сменам.

Он понимал, что не харчи и не банька волнует сейчас мужиков, пришла охота выпить, гульнуть. Силой их не удержишь, крадком уйдут. Лучше уж по-хорошему...

– Ясное дело, по сменам, – радостно сопнул Семен Данилович. – Дозор оставляю. Лёлю свово, он за лошадьми присмотрит. Опять же Акинфия – у него глаз молодой. А в баньку мы тебя кликнем, Никитич. Побаловаться парком кому не охота?

– Не откажусь.

– Я и говорю!

Возчики собирались в отлучку шумно, спешно, боясь, как бы не передумал барин. Кряжистые, широкоплечие, неуклюжие в ямщицких армяках, с обветренными прокаленными

лицами, заросшими косматыми бородами, они сейчас походили на школьников, счастливо избежавших субботки, традиционного дня расчетов за всю неделю розгами. Грустно и забавно было наблюдать за ними.

Акинфий поглядывал на мужиков с завистью. Дедок-леля, напротив, не обращал никакого внимания. Вился возле Крылова, выговаривался после долгого молчания. О чем? О лошадях, конечно. Конскую тему объездной мог развивать без усталости, до бесконечности. Казалось, он знал о лошадях все: как принять зятянутого жеребенка, выходить задохлеца, распрячь-запрячь, чем и как лечить копыто или, к примеру, мышьяки – конские болезни, во время которых в ноздрях и горле животного делаются завалы и лошади невозможно дышать... Попутно дедок сообщал сведения о том, что конский дух ползет от чахотки, что мужик-корень лечит у лошадей чесотку, что тоболяки считаются очень плохими ямщиками, их нанимают только по большой нужде, и, напротив, томские гужееды или тюменцы – люди хожалые, опытные, им довериться можно... Что нельзя кормить коней сухарями – потеют... Что всякие переселенцы из России наввозили в Сибирь разных лошадей, которые и перепутались; поднялись ноне в цене местные породы: кузнецкая и чумышская...

– Лошади у нас особые, сибирские, ишло татарами ученые. Всякая ли скотинка Великий тракт сдюжить? А томская порода – хоть бы што! И в лето, и в зиму. От нее разору нет, ежели питать по методе.

– Что еще за метода такая?

– Обнаковенная, – показал пустые синие десна леля. – Не кормить вовсе. Пушай и деть, как бог на душу положить. Помирать-те ей не хочется! Лошадь на жилах должна иттить, в узел себя скручивать. Тогда в ей сила разовьется, норов. А вволю кормить – не сдюжить. Не-а. Сытую скотину на мясо бьют, в обоз не ставят.

– Невеселая наука, – перебирая в руках прутья, добытые стариком, покачал головой Крылов. – Неправильная.

Волосы его, еще не седые, цвета темной кедровой коры, освобожденные от фуражки, подсохли, закудрявились. По сравнению с выгоревшей бородкой они кажутся чужими.

– А у нас уся жизнь такая, – печально согласился объездной. – Неправильная. Да ты не бери в голову, барин! Мало ли што я тебе набураню. Давай-ка лучше ужин примем. А потом и за плетенье можно браться, на горячий живот. Вечера ноне долгие, световые. Куды с добром...

Крылов послушно оставил корзины, пошел к костру, над которым призывно ухал котелок с толстыми штями – густой просяной кашей, булькал кипяток для чая.

Покойно у реки, просторно. Негромно возятся в ветвях птахи. Всплескивает в воде рыбица. Изредка перекликаются полевые кобылки. Ласкает прохладный ветерок шершавую кожу, пьянит запахами. Красота – словами не выскажешь, раздолье.

– Опять дрыхаешь, лежебок? Эх ты, калина худая!

Леля походя подергал за рогожку, на которую успел завалиться Акинфий. Сонлив отрок безмерно. Как затаился, не вертится под ногами, значит, кемарит в каком-либо закутке. Песий сын... Ежели б не сиротство горькое, артель давно его из своего ряда вышугнула бы.

Акинфий воровато оглянулся, – на остром веснушчатом лице появилась недетская злоба, – и сунул под нос старика костлявый кулак:

– Во, видал?

Но заметив взгляд Крылова, тут же разулыбался, послушным голосом возвестил:

– Здеся я! Али куда сбегать? – и зелеными пройдошистыми глазами преданно уставился на барина.

– Иди к нам, Акинфий. Ужинать пора, – пригласил тот.

Еще одна причуда у барина – с возчиками кушать, будто с ровней. Хитрит, а может, и верно, от хорошей души старается?

Парнишка ждать себя не заставил, уместился рядом с лёлей, нетерпеливо обшмыгал руки о траву.

Крылов сполоснул в ведре пучок собранного еще по дороге дикого лука, бросил в котел, размешал.

– Отведай, брат Акинфий, первым, – сказал. – Горячее сыро не бывает. Я, к примеру, не любитель размазни. А ты?

Акинфий неопределенно мотнул кудлатой головой, цепко взял ложку. Сколько помнил себя, ему все время хотелось есть, так что рассуждения барина о каше-размазне показались ему пустыми.

Ну, коли желает, пусть поговорит. Так-то он ничего, не вредный. Только не настоящий какой-то... Обозные мужики сказывают: научный человек, в Томск едет учить студентов какой-то ботанике. Большой груз с собой везет, по ученой части... Вот ему, дескать, и интересно, как да что местные жители прозывают. Дерябка на его языке выходит незабудкой, мышья репка – клевером, дуботыльник – полынью, ломовая трава – мятой, а бархатник – татарником... Будто с иноземного языка перетолмачивает. А какая разница? Все одно – трава и трава! Ученый барин то беседлив не в меру, то по целым дням молчит, во все глаза на тайгу пялится. То вдруг подступит ни с того ни с сего: как-де, Акинфий, ты без отца-матери остался? Чем кормился? И что он в этом нашел интересного? Один Акинфий, что ль, без родителей мыкается? Эка невидаль, сиротство на Руси! А кормился – чем бог пошлет, что люди отнять не успеют. Тут сноровка нужна – успеть до рта донести. Его бы, барина, на место Акинфия – враз бы с голоду запах, потому как тетерев тетеревом, свой кусок непрочно держит...

Крылов исподволь наблюдал, как паренек с жадностью, обжигаясь, глотает кашу, ломает зубами сухарь, и сердце его томилось жалостью. И ленив Акинфий, и сонлив, и соврет, как споет, и исподтишка старика-лёлю ткнет, – а смышлен и приметлив. Есть в нем память особенная: на камни. Кварцы, ониксы, змеевики, шпаты... Обо всех-то он слышал, видел, запомнил, где, на каком берегу той или иной речки повстречал. «Кто рассказывал тебе о камнях, Акинфий?» – «А никто. Папаня одно время в Заводе работал, камни тесал. Может, он сказывал. Не помню. Мал был, годов шесть...»

Выждав, когда возьмется за ложку барин, принялся за кашу и старик. Неторопливо поел. Собрал в мешок посуду, понес на реку мыть. Акинфий сунул в угли молоденькую мелкую картошку и озорно посмотрел на барина: мол, это я для тебя угощение раздобыл. Тот хотел было усомниться в его воровстве, но передумал: все равно назад не понесет. Да и повторять не раз уж говоренное не хотелось. Укорами мальчика не проймешь.

– Учиться тебе надо, Акинфий, – сказал Крылов и сам почувствовал, что не к месту сказал.

– Эт еще зачем? – изумился Акинфий. – Я и так ученый. Ползими к попу бегал, хватит, – и добавил доверительно: – Ну ее к лешему, грамоту! Мне ба в хорошую артель войти, котора в тайге зверя промышляет али золото моет. Ямщичить не люблю, скучно. Хочу ферсом жить! Нашел ба самородок – с кулак! – закатился ба в Екатеринбург... с мужиками... в ресторацию... Пожил ба по-человечески...

– Ошибаешься, дружок. Счастье не в гульбе, не в развлечениях, – не удержавшись перебил Крылов.

– Ну да?

– Правильное место в жизни найти, грамотным стать, таланту своему дорогу открыть – вот в чем счастье. А ты талантлив, поверь мне. Только не знаешь пока об этом.

– Талант? Что эт такое?

– Способность человека к хорошему. Талант – это, брат, как самородок. Природа, матушка наша, для всех людей его готовит, а одному в руки отдает. Как распорядиться эдаким подарком? Один, себялюбец отпетый, на себя истратит, во зло другим употребит. Второй

людей одарит. А третий поглядит-поглядит, да и зашвырнет от себя куда подальше. Так вот, по моему рассуждению, третий-то и есть самый никудышный распорядитель. Потому как глуп. В голове реденько засеяно.

– Дурак – божий человек, – лениво возразил Акинфий, всем своим видом показывая, что не намерен глубже влезать в рассуждения.

– Что значит божий? – вскинул бородку Крылов. – Так, брат, все оправдать можно! А где же твоя совесть? Где разум? Разве правильно свои способности, силы духовные в землю зарывать? Непростительно это и... земле противно. Не для того она ростки вверх гонит, чтобы их обратно... головами...

– А по мне, так дураком лучше жить, – решил поддразнить его парнишка. – Мама моя, когда помирала, наказывала. Не будь, гыт, Акинфий, горьким – расплюют, и сладким – проглнут. А дураком, гыт, в самый раз.

– Не прав ты, ой не прав! И мама твоя, царствие ей небесное, тоже ошибалась. Человека нельзя расплевать. Он сам себе строитель. Сам обязан судьбу вершить, – заволновался Крылов, понимая, что Акинфий сейчас вполне искренен.

– Да-да, хорошо говорить, коли ты барин, а не мужик, – с завистью возразил парнишка.

– Что это ты, однако, заладил: барин, барин... Нехорошо, брат. Просил ведь...

– А не барин?

– Ну, что тебе сказать? – замялся Крылов. – Это как понимать.

Не мужик, конечно, не пашу, не сею... И в Заводе не работаю. И – не барин. Ты думаешь, моя жизнь патокой обмазана? Ошибаешься, и мне полны довелось перепробовать. Учился на медные гроши...

– Как это? – с притворным интересом посмотрел на него Акинфий и гибко, по-кошачьи потянулся всем телом.

– Да так. Не вспомнил бы, да грешно забывать. Что было, то было...

И Крылов – сначала без охоты – начал рассказывать о своем детстве. О печнике Никите Кондратьевиче, отце своем, из крепостных. Как мечтал он всю жизнь на волю откупиться. Откупился. В Пермь с семьей переехал. Думал пожить на воле, жизни порадоваться. Не пришлось. Слеп и умер. И остались они с матушкой Агриппиной Димитриевной в большой нужде. Сильный зверь – нужда человеческая. Самому страшному учит: унижению. И вот тогда для человека главное – устоять, не пасть на четвереньки...

Вернулся с речки лёля, поддакнул:

– Правильно говоришь, барин, с пониманием. Потому как сам, видать, лямку тянул. Ладно хоть щас из нашей подклети на свет выцарапался. Теперь других тяни. Може, нашего остолопа к делу пристроишь, а?

Он хотел было узнать на этот счет мнение Акинфия, но того и след простыл. Только что лежал тут, хмурился – и на тебе, снова сбежал!

Заметив исчезновение парнишки, Крылов насупился, потерял настроение.

– Пойду поищу глины на обмазку, – сказал старику. – А ты, отец, отдохни. Намаюсь небось за день?

– Намаюсь, – сознался тот. – Годы-т у меня плешивые. Куды от их деться?

Крылов взял кожаное дорожное ведро и пошел на плеск воды.

Тихая, словно бы замершая в долгом испуге, безымянная речка медленно перекатывала по белому песку коричневые волны. Неглубокая и неширокая.

Полюбовавшись мирной картиной густого тальника, полощущего длинные зеленые пряди в реке, – так бабы, заговорившись, возят бельем по воде, – он пошел вверх по течению, внимательно оглядывая береговые обнажения.

Растревоженные воспоминания, отлетевшие было из-за досады на Акинфия, снова закружились над ним...

В двенадцать лет матушка Агриппина Димитриевна, скопив вдовью копейку, отдала Порфирия в гимназию. Так уж хотелось ей видеть сына образованным, не хуже других! Поначалу, в первых трех классах, дела у гимназиста шли недурно. Он полюбил естествознание и географию. Но сухость и бессмысленность прочих предметов оттолкнула его, а грубые окрики надзирателей «на колени! как стоишь?!» да горячие молитвы сверстников по ночам: «Только бы перенес боженька через субботу!.. Что угодно, только не розги...» – внушили к учебе отвращение.

И он стал убежать в лес. Это была пора какого-то бурного увлечения птицами. Маленькая квартирка – вся в клетках. Порфирий часами мог лежать где-нибудь на краю поля и слушать незамысловатую песенку залетного солиста-зяблика, позабыв обо всем на свете. В результате – неявка на экзамен при переходе в пятый класс – отчисление с оценками «хорошими» и «достаточными» и лишь по латыни «отличными».

Матушка в слезы. На пороге все та же непрошенная гостья-нужда. По-юношески самолюбивый, Порфирий принял безумное решение: в одиночку сплавлять лес по Каме. Как жив остался, одному Господу известно... В канун восемнадцатилетия одумался, поступил учеником в одну из пермских аптек. Прошел все должности – сторожа, ассистента, лаборанта, рецептариуса. Заинтересовался химией.

В аптеку часто приходил один пермский любитель ботаники, у которого имелась небольшая коллекция растений. Он показал ее молодому рецептариусу и, сам того не ведая, заронил в его душе новую страсть. Порфирий на время позабыл о птицах и жадно занялся коллекционированием. Через небольшое время он обогнал своего наставника и создал гербарий в четыреста растений. В то время эта цифра кружила ему голову. Еще бы! Автор знаменитых книг «О причинах растений», отец ботаники, великий Теофраст описал всего пятьсот видов!..

Раздобыв «Флору Московской губернии» Кауфмана, Крылов лихорадочно принялся устанавливать названия собранных им растений. И скоро понял, что Теофрастовы достижения не так-то легко обогнать: одно дело собрать гербарий в четыреста растений, другое – описать четыреста видов! Новые виды, еще никем не описанные, на дороге не валяются, их отыскать надо – и научно защитить.

Это препятствие в виде малой подготовленности удручило, но не остановило упрямого аптекарского ученика. Спустя три года он поехал в Казань и выдержал экзамен на помощника провизора. Затем поступил на двухгодичные курсы провизоров при Императорском Казанском университете. Получил диплом с отличием и остался при университете на сверхштатной должности лаборанта по кафедре аналитической химии. Затем перебрался в Ботанический сад ученым садовником.

Счастлирое, невозвратное время. Вдвойне счастлирое оттого, что согрето ровным и сильным чувством мужской дружбы. Именно в эти годы судьба одарила Крылова знакомством с Николаем Мартьяновым и Сергеем Коржинским. Ни разница в возрасте: Мартьянову под сорок, Крылову тридцать, а Коржинскому двадцать лет; ни большая несхожесть жизненного опыта: в отличие от Коржинского, сразу ставшего студентом Казанского университета и обратившего на себя внимание профессуры благодаря своим блестящим способностям, Крылов и Мартьянов бились с самого низу, шли против течения, полагаясь только на свои силы и работоспособность, достигая знаний потом и кровью, – ничто не помешало им объединиться в страстном увлечении ботаникой. Может быть, благодаря именно этой дружбе, Крылов стал тем, кем был в настоящее время: доцент, ботаник, приглашенный на службу в первый Сибирский университет...

...Глина попалась отменная. Целый уступ, усеянный ноздрями выемок: видать, и местные жители брали ее отсюда бить печи. Довольный находкой, с полным ведерком, Крылов вернулся в лагерь.

Дозорные исправно несли службу. Акинфий обосновался на телеге. Лёля, ссутулившись, мирно подремывал у прозрачного костерка.

Первым делом Крылов решил сплести новую корзину, а уж потом залатать старые. Он любил это занятие. Руки в работе – и подумать можно, и повспоминать. А заодно и передохнуть от нелегкой дороги, от текущих забот.

Он разложил на траве длинные ивовые прутья, крест-накрест, восемь штук. Связал в середке, чтоб не распались. Вот так. Теперь надо выбрать прутки пожиже, погибчее – и вперед, косоплетка...

– Тю! Глянь-кось! – раздалось вдруг откуда-то сзади.

Крылов не спешил оборачиваться. Он сразу догадался, что к подводам тайком подобралась ребятишки – только у них может быть такой звонкий шепоток.

Шорох, сопение, возня.

Пора дать о себе знать, дескать, я здесь, я вижу и слышу. А то как бы неожиданные гости не натворили чего...

Он отложил в сторону готовую узкогорлую корзинку и встал.

– Ну, все высмотрели? Что нашли интересного? – спросил, стараясь, чтобы голос не звучал сердито. Деревенские дети пугливы, как воробьи, от любого неосторожного движения вспархивают.

И все-таки слова его произвели впечатление грома, раздавшегося в безоблачном небе. Ребятишки сначала замерли, а потом стреканули врассыпную – только босые пятки замелькали. Лишь девчушка лет трех-четырёх не поспела за ватагой. Упала на четвереньки – и в рев.

Крылов поднял ее на руки.

– Ну, ну... Ведь и не ушиблась даже. Ах они, проказники, бросили маленькую девочку! Убежали. Ну, так мы им зададим феферу... Пусть только вернется.

Мягкий низкий голос успокаивающе подействовал на малышку. Она затихла. Замурзанное личико ее просохло и даже как будто высветилось. Девочка доверчиво прильнула к широкому плечу бородатого дяденьки, совсем не страшного и не злого. Тронула ручонками крепкую загорелую шею. Пальчики были слабые, холодные, липкие...

– Дя-нька, отдай Нюшку, – из-за кедрового дерева выступила девочка постарше, с такими же, как у малышки, глазами-незабудками.

– Что же ты сестренку бросила? – строго посмотрел на нее «дя-нька». – Она маленькая, плачет, а ты спряталась. Нехорошо.

Рыжеватенькая девчушка потупилась: ей и вправду было стыдно за свое бегство.

– Мы больше не будем, – сказала она и, готовясь заплакать, гнусаво протянула: – Отдай Нюшку...

– А вот как не отдам? – вздумалось Крылову пошутить.

– Мужиков покличем! – угрожающе пообещал мальчишеский голос, задрожавший от собственной храбрости.

– Ладно, – сказал Крылов. – Забирайте свою Нюшку. Да выходите. Не бойтесь.

Один за одним к нему потянулись дети – из-под телег, из кустов, из-за деревьев. Им вроде бы и не по себе было, опасались, как бы чего не вышло, – и любопытство одолевало... Ватажка набралась человек в десять. Худенькие, нечесанные, немые, на руках и ногах цыпки, одежонка заношена, с третьего или четвертого плеча, просторная, в прорехах ветер гуляет. Двое золотушные, болезненно кривят опухшие губенки, чешутся. Воробьи, воробьи...

Крылов бережно опустил с рук девочку, но она не захотела пойти от него – обхватила руками сапог.

– Только, чур, без спроса ничего не трогать! Уговорились? – предупредил Крылов, почувствовав, что дети успокоились и начали осваиваться в лагере.

– Ага, – за всех ответил мальчишка, посуливший кликнуть на помощь успенских мужиков. – Поглядеть интересно! – и тронул рукой ближнюю к себе корзину.

– Что ж, посмотрите, – разрешил Крылов. – А ты у них за главного показчика будешь. Как зовут-то тебя?

– Федька я. Дупловский.

– Дуплов Федор, значит?

– Ну.

Подчеркнуто осторожно ребяташки сунулись к корзинам. Отбросили крышки – и разочарованно замерли.

– Тю! Трава напхана...

– А ты думал, тут пряников под закрутку? – рассмеялся Крылов.

– Зачем она вам, дяденька? Эвон в лесу сколь, – подала голос Ньюшкина сестренка.

– Это не простая трава, – пояснил Крылов, опускаясь на корточки рядом с детьми. – Растения тут – особенные. В лесу вы их не найдете. В нашем, я имею в виду, лесу. Редкие это растения. Заморские. А ну, давай-ка во-он ту плетенку... Так. Сейчас лечить будем, – и он положил на холстину расколотый горшок с иглистым растеньицем и начал выбирать глиняные черепки из кома земли, перевитого белыми, причудливо изогнутыми корнями.

Больше всего он опасался за эту хрупкую неженку – и надо же было так случиться, чтобы пострадала именно она! Бедная квинслендская елочка! Вид ее нездоров. Кожистые листочки, похожие на хвоинки, обмякли. Ветви, горизонтально простертые от самого основания, провисли. Верхушка свернулась запятой. Нужно было сразу ею заняться, как только лагерь поставили, а он заговорился, пошел за глиной, отвлекся от главного.

– Это араукария, – задумчиво рассматривая растение, сказал он притихшим детям. – Из далекой страны Австралии. За океаном которая. Не слышали? Ну, ничего. Жизнь долгая, еще услышите.

А, может, кто из вас и путешествовать станет. Как наши знаменитые путешественники Николай Михайлович Пржевальский и Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Представляете, Миклухо-Маклай не побоялся отправиться к дикарям, к папуасам, и долго жил там и стал их другом... «Таморус» называли его папуасы, которых все считали людоедами, и никогда не обижали нашего путешественника. А знаете почему? Потому что он показал им свои мирные намерения. Пришел в деревню, где жили людоеды, без оружия. Улегся на траву и заснул. Дикари обступили его и долго смотрели, как он спит. И поверили ему, – рассказывая, Крылов продолжал работать: обрезал сломанные корешки, размял комочки земли; дети слушали его, притаив дыхание. – Так вот, эта елочка зовется араукарией... Хотя местные жители, австралийцы, называют ее «бунья-бунья». Смешно, говоришь, Федя? Верно, смешно. Бунья-бунья. А вырастает она могучая да красивая. Любо-дорого поглядеть! В Австралии той тепло. Можно сказать, даже жарко. Снега не бывает. Вокруг теплый океан. А у нас в России зима, холодно. Как сделать, чтобы такие вот буньи-буньи и у нас росли? И надумали люди большие стеклянные дома для растений строить. Оранжереи называются. В таких домах заморские цветы, деревья и живут. Тепло. Земля хорошая. Воды вдосталь. Отчего не расти?

Он заметил, как изменилось отношение детворы к содержимому корзины, и вновь загорелись интересом внимательные глаза.

– А ты откуда будешь, дяденька? – солидно спросил длинноногий Федька.

– Из Казани.

– Там стеклянные дома есть?

– Есть.

– Куда ж ты сейчас? Продавать ли чо ли?

– Нет, – улыбнулся Крылов. – Не продавать. А везу я их всех, – он сделал широкий жест, как бы обнимающий обоз, – в город Томск. Слыхали про такой?

– Ага! Это знаем! – обрадованно замотали головами ребяташки. – Ну еще бы! Город Томской не Австралия, о которой, конечно же, никто и слыхом не слыхивал, а свой, сибирь-город. Сосед, можно сказать. Случалось, успенские мужики-кислороты в извоз к томским купцам нанимались. Воротясь ко двору, рассказывали: мол, большущий город, на улицах сальные свечи в фонарях горят, городовые стоят. А купцы томские бога-а-тые да чудные люди! Один, сказывали, себе терем построил. На берегу реки. А из подполья – ход такой. Кто с золотишком зайдет, того топором по голове тук – и в подкоп. А золотишко – себе...

– Ну, это сказки, – рассмеялся Крылов. – Вы, не больно-то всему верьте. Даже вашим бывалым-хожалым. Город Томск – хороший город. Там живут, конечно, разные люди, но много добрых и умных. Вот и университет скоро там откроется...

– А кто это? – спросила Нюшкина сестра.

– Университет? – озадачился Крылов, как бы половчей объяснить непонятное слово. – Университет – это школа. Большая школа.

Для взрослых. Поучатся они годов пять – и врачами, докторами сделаются. Вас лечить смогут. Понимаете?

– Понимаем! Только у нас дохтура нет. Бабка Швейбиха есть. Дед Балюк зашоптывает. Я одна серпом ногу срезал, дак он зашоптал. «Кров, кров, бегла через ров. Рова не стало – и кров перестала», – сказал Федька, доверчиво глядя Крылову в глаза. – А еще он с лешими говорит.

– Ваш дед Балюк не лечит, а сказки рассказывает, Федя, – ласково тронул мальчика за плечо Крылов. – Тем более про леших и про чертей.

– А что, леших и чертей не бывает? – замирающим голосом спросила стриженная девочка, застенчиво натягивая белый платочек на лысенькую, как после тифа, голову.

– Не бывает.

– А бабушка говорит – есть. В доме – домовый али дедушка-суседушка. В лесу – лесной. В воде – водяной, а в поле – полевой! Если огороды начнешь зорить, то придет полудница, старуха в лохмотьях и с клюкой, и уташшит.

– А еще ходит Шулюкин, – несмело поддержала ее другая девочка, некрасивая, с застывшей в неестественном положении кривенькой шеей.

– Это еще кто такой? – весело удивился Крылов. – Что-то не встречался он мне раньше. Расскажи, милая.

– Он это... молодой такой, – послушно начала девочка. – Парень такой... В красной рубахе и синих штанах. Где хочет, там и вскочит. Когда святки, в куклы играть нельзя. Шулюкин-наряжунчик уташшит. Все девчонки его боятся!

Крылов с жалостью смотрел на детей, сидевших полукружком возле него. Качал головой. Добро бы сеять в этих сердцах, а не сорняки предрассудков. И семена уж возвращены, и светильники разума возжжены, да пахарей не хватает... Немного ныне наберется желающих нести светильник во тьму. Велика Россия, необъятна, сотней плугов не вспашешь, десятком светильников не разгонишь мрак...

«Бог даст, может, для этих-то ребяташек хоть что-нибудь переменится к лучшему. Им еще расти и расти», – попробовал утешиться Крылов, в который раз чистосердечно и неопределенно надеясь на светлое будущее. Без надежды, без веры он не мог существовать, иначе сама жизнь делалась непосильной, бессмысленной.

– Шулюкин – это тоже сказка, – вздохнул он. – Да вы не гневайтесь на меня! Я не против сказок. Только не надо всего на свете бояться. Человек сильный. Он силен разумом. Знаниями. Он сильнее Шулюкина, потому как сам же про него и сочинил, придумал. Уразумели, воробы?

Дети нерешительно переглянулись; речи доброго дяденьки казались непонятными, пугали.

– Давайте я вам лучше кое-что покажу, – предложил Крылов. – Однако условимся: не только глядеть, но и помогать!

«Кое-что» оказалось для ребятишек чрезвычайно интересным занятием. Они охотно копали ямку, закладывали в нее угли из костра, сырой глиной обмазывали сплетенную барином узкогорлую корзинку, сажали ее в разогретую ямку, накрывали дерновиной...

Когда прутья сгорели и дым перестал клубиться, Крылов посмотрел на часы и торжественно сказал:

– Приготовьтесь, господа!

И лопаткой поддел дымящуюся дерновину.

Нетерпеливым ребячьим взорам открылся... обыкновенный горшок. Не очень ровный, не очень ладный. И все же они смотрели на него, как на чудо. Этот горшок был, конечно, лучше и пригожей, чем расписные городские, которые привозили с ярмарок в Успенку мужики. Потому что он был сделан их собственными руками.

– Ну как, нравится? – спросил Крылов, вынимая теплое изделие из ямки.

– Хороший! – хором воскликнула, как выдохнула, ватажка, и горшок заходил по рукам.

– Вот и добро, – потерял бородку довольный Крылов. – Берите себе на память. А для бунии-бунии мы сейчас еще слепим. Да, Нюша? Повыше да пошире...

Второй горшок получился не хуже первого. Буния-буния укрепились в нем удачно, словно век там сидела.

Дети помогли и с поливкой. Все подводы быстренько облазили, напоили растения. Даже маленькая Нюшка старательно ковыляла вслед за старшими, прижимая к груди кружку с водой.

– Спасибо вам, дорогие помощники, – похвалил Крылов. – А теперь давайте-ка поближе к костру. У меня каша знатная осталась, хлеб... Чай с душицей да с сахарком попьем!

Ватажка окружила обмякший костер, и на лесной поляне сделалось уютно, как в просторном доме.

Дети ели нежадно, степенно, как и положено в гостях. Деликатно поскребли дно котелка и, облизав струганные ложки-щепочки, отодвинулись от костра, показывая хозяину, что сыты и довольны.

Маловато каши, конечно. На девяти-то. Крылов прикинул, чем бы еще угостить ребятишек. Вспомнил! Достал из узелка остаток колониального товара – кишмиша, подаренного ему на прощанье казанским аптекарем. Отсыпал каждому поровну в протянутые ковшиком ладошки.

И тут заметил ревнивый взгляд подошедшего незаметно Акинфия.

– Держи и ты, – сказал ему Крылов. – А это старику отнесешь. Да смотри, не обижай его. Я вижу. Старых да малых обижать грешно. Запомни, Акинфий.

Федька стоял рядом и внимательно слушал. В другое время Акинфий не преминул бы щелкнуть мальчишку по носу за чрезмерное любопытство, но в присутствии барина не посмел.

Неожиданно стало темнеть. Сначала пропали очертания дальних кедров, потом размылись фигурки на поляне, ярче сделался костер.

– Пора и домой, – напомнил ребятишкам леля. – Там вас, поди, уж обыскались.

– Не-е! Не хочется... Не пойдем, – забунтовали те. – Пусть барин расскажет еще что-нибудь!

– А расскажу – пойдете?

– Тада пойдем.

– Хорошо, пусть будет по-вашему. Идите сюда, от огня подальше.

Крылов отвел ребятишек за кедр, велел зажмурить глаза, а сам скользнул к подводе, где в стеклянных банках и картонных коробках хранились лекарственные растения и прочие редкие находки, собранные им по пути. Вынул из-под рогожки какой-то предмет и накрыл его широкими ладонями, как птенца.

– Смотрите...

Развернул руки – и в густых сумерках на его ладонях возникло нежное свечение, бледное и загадочное. Свечение завораживало, околдовывало.

– Самосветы! – внезапно охрипшим гоосом выдал свое волнение Акинфий.

Словно очнувшись, дети враз потянулись к мягким кудрям холодного огня.

Дав им полюбоваться, потрогать, – на ощупь огонь действительно мягок, сыроват, – Крылов сказал:

– А вы знаете, дети, это мох. Обыкновенный мох. Я нашел его верстах в тридцати отсюда, на прошлой стоянке. Вот вырастете, в тайгу пойдете... Станете смелыми охотниками, будете свой край изучать. Может статься, вечером или ночью повстречается и вам такая свет-полянка. Не топчите ее. То мох самосветящийся растет. Редковато встречается... Про него тоже сказки складывают. Будто бы маленькие лесные жители, лесовички, зажигают по ночам фонарики-огоньки. Стерегут свои зачарованные сокровища... А на самом деле это мох, дети. Травка такая, которая днем лучи солнца как бы в себе накапливает, а ночью светиться начинает.

– Самосвет-травка, – прошептал Федька.

– Можно и так сказать, – поощрил его Крылов. – Понравилась сказка? Вот и отлично. Возьми, Федя, эту травку. От меня на память. Может, когда-нибудь встретимся. Вырастешь, выучишься, приедешь в Томск, в Сибирский университет – меня спроси... И ты, Акинфий... И вы все...

– А как спросить-то? – поинтересовался Федя, принимая светящийся комочек.

– Спроси Крылова. Ботаник Порфирий Никитич. Запомнил?

– Ага.

– Вот и ступайте. С Богом!

Ребята попрощались и нехотя побрели по домам. Они шли через поляну гуськом, о чем-то переговариваясь. Их было долго видать, особенно Федю с самосвет-травой.

Крылов проводил ребятшек, постоял в темноте. Грустное томление, печаль, разлитые в недвижимом ночном воздухе, завладели и им. Хотелось сокровенной беседы, дружеского участия...

Прежде времени осина пожелтела.

Лист широкий осинушка обронила.

Стояла осинушка на отбросе...

Стараясь не хрустнуть веткой, Крылов сделал несколько шагов вперед. Так и есть, не ошибся: пел старик-леля. Он сидел у догорающего костра; вздернутая бородешка его, похожая на пучок степного ковыля, легко шевелилась, трепетала в горячем потоке, шедшем от красноватых пыхающих углей.

Ветром осинушку качнуло,  
Сучья у осинушки приломило,  
Листья дождиком обстегало,  
Вершинушку красным солнышком подсушило,  
Кору зайки белые обглодали...

То была старинная песня сибирских обозников. Крылов уже слышал ее прежде, но дребезжащий тенорок старика сообщал ей нечто новое, сокровенное. Глубочайшая мужская печаль о нескладной судьбе, о невозвратной поре недолгой и неяркой молодости звучала в песне так обнаженно, что делалось не по себе.

Прежде времени головушка поседела.

Прожила головушка на чужбине,  
На послугах ты у вязниковца,  
У приезжего купчины-ковровца;  
Тридцать лет головушка служила,  
Золотой казны она не накопила,  
Силу крепку в обозах надорвала,  
По большим дорогам силу растеряла.  
Накопила только, голова, ты долгу,  
Выслужила только грубое ты слово:  
«Ах, мужик, дурак ты, неотес сибирский!»

Старик умолк. Опустил голову, задумался, глядя на угли. Издали казалось – задремал.

Крылов неслышно прошел к своей подводе, лег на расстеленную палатку и долго смотрел в темный клочок неба с одной-единственной звездой над головой. Ему было грустно и... радостно. Счастливо от мысли, что все у него в жизни идет как полагается. У него есть жена, дорогая Машенька, обещавшая тотчас приехать к нему из Казани, как только он устроится на новом месте, не убоившаяся Сибири. У него есть будущее – любимая работа на благо Отчизны. Он чувствовал в себе силы нерастраченные, жажду самоотречения жгучую; он стремился в неведомый Томск, словно к заветной цели...

А грустно было потому, что он один, и кругом особая ночная тишина, что умолк старик, а его песня еще продолжает звучать в ушах: «Выслужила только грубое ты слово: «Ах, мужик, дурак ты, неотес сибирский!..»

## Милосердная песня

Раннее утро занялось бескровно, мглисто. Вяло, будто с ленцой, коротко прерываясь и начинаясь вновь, моросил сеянец. Уезженная дорога набухла, вот-вот готовая размякнуть и превратиться в слякоть. Спины, бока лошадей маслянились от влаги, шерсть на них походила на мятый плющ. Сыростью пропиталась одежда.

Пока запрягали, готовились в дорогу, Крылов нарезал в заболоченной низинке пушицы. Заложил в сапоги.

– Семен Данилович, не угодно ль теплой травы? – предложил он, указывая на оставшуюся охапку. – Возможно, кому-нибудь нужна... Преотлично сохраняет ноги!

Старшой хмуро махнул широченной рукой и зачвакал разбитыми сапогами прочь. Лень переобуваться. После вчерашнего трещит голова, невмоготу расцепить пересохшие губы.

Артель Семена Даниловича выглядела не лучше. Угрюмые, неспроставшиеся глаза, помятые и серые лица, всклокоченные бороды, как во сне, замедленные деревянные движения. Так что на призыв барина утеплить сырые ноги откликнулся только один старик-леля.

С тем и отправились в путь.

И вновь обняла тишина. Окружила безлюдная вековая тайга: желтые сосны, шептун-дерево осина, копьевидные ели.

Как и в прежние дни, Крылов шел с первой подводой, погрузившись в свои мысли.

В Сибири он впервые. Как-то странно сложилась его судьба: родился в Минусинском уезде, на Енисее, но в Сибири – впервые. Много слышал о ней от матери, о деревне Сагайской, где временно, по разрешению помещика, жила семья и откуда Порфирий был увезен еще малюткой. Много читал о ней. А вот шагать по сибирской земле довелось только теперь, в тридцать пять лет...

Казалось бы, ничего особенного, сверхнеобыкновенного, не открылось перед ним после того, как закончилось восточное предгорье Урала и пошла обширная западной Сибири низменность, самая огромная в Старом Свете. Никаких резких отличий в растительном покрове.

Та же хвойная тайга, перемежающаяся светлым березовым лесом, кустарники, травы... Так же золотится володушка, ласкает взгляд горечавка, казак-трава. И однако – все было иным. Ощущение неожиданного приволья, суровой силы, схороненной в этом краю, не покидало его. Необозримые поляны одних и тех же цветов создавали величественную картину ничем и никем не стесненного пространства. Рождалось чувство неповторимой красоты, понятной и в то же время загадочной. Это чувство тревожило, делало восприятие обостренным.

За весь день пути крыловскому обозу повстречались всего лишь две повозки. Одна из них принадлежала чиновнику, мчавшемуся на тройке гладких, ухоженных коней. Другая была почтовая, с колокольцами. Лихой возница на высоком облучке по-разбойному свистнул, обгоняя плетущийся обоз с корзинами. От этого свиста, протяжного, неестественного, резкого, на миг похолодело в груди. Напомнились рассказы о сибирских чаерезах, что наживали бешеные деньги на загубленных душах проезжих людей.

И снова – долгое молчание густого нетронутого леса, медленный бег дороги, которая то сползала в ложбинки, то не спеша взбиралась на пологие холмы.

Притомившись от пешего хода, Крылов какое-то время ехал на подводе. Мысли его рассеянно скользили с предмета на предмет, ни на чем долго не задерживаясь. Неприятное состояние. Скорей бы хоть до Тюмени добраться! Высланные вперед помощники – Пономарев с Габитовым – должно быть, уж там, сидят в каких-нибудь номерах да чай гоняют. А может, все наоборот: бредут где-либо сейчас, горемычные, обобранные до нитки ночными подорожниками, карманными тягунами, – ни еды, ни денег...

Крылов даже головой мотнул, будто лошадь, прогонявшая докучливого паука. Бог знает, какая чушь не взойдет в голову! И хоть на своего родственника, брата жены Марии, он не очень-то полагался, – старателен, да немощен в делах практических Иван Петрович, – но в Габитова верил крепко. Молчаливый татарин в одиночестве своем прибил к Крылову и выполнял любую хозяйственную работу в казанских оранжереях; он умрет, но слово сдержит. И Пономарева с деньгами остережет, и билеты на речной транспорт закажет. Бог даст, все будет хорошо...

Убаюканный раскачиванием и подергиванием телеги, Крылов задремал.

Разбудило его протяжное проголосное пение. Утишенное расстоянием, оно отражалось от ближних стволов, и казалось, будто низкими мужскими голосами жалуется-горюет сам лес.

Крылов приподнялся на локте, огляделся: дорога по-прежнему пустынна. Соскочил с подводы, отошел на обочину, пропуская телеги. Дождался старшего.

– Семен Данилович, что это? Вы слышите?

– Каторжники, – коротко ответил старшой и ни с того ни с сего зло стеганул по крупу покорную рыжую лошаденку.

Крылов остановил его руку, поднявшуюся было с кнутом во второй раз.

– Полноте, зачем же? – тихо проговорил. – И так ведь изрядно движемся.

Семен Данилович выдернул руку, но, встретившись со взглядом барина, переломил кнут, прижав ремennую плетть к кнотовищу.

– Бедолаги, – незаметно пристроился к Крылову лёля. – Видать, село впереди. Вот и затянули милосердную. Може, подасть хто. Христа ради.

И в самом деле, вскоре они нагнали колонну этапников, бредущих по трое вдоль обочины широкой дороги. Склоненные головы, лохмотья, глухой звон ручных браслетов, ошметки грязи, облепившие ветхую обувь...

Не велел Господь нам жити  
Во прекрасном раю.  
Сослал Господь Бог  
На трудную землю.  
Ой раю, мой раю,  
Прекрасный мой раю!

Кто они? Воры, душегубы, осударевы ослушники-возмущенцы, бунтари, безвинные страдалцы?.. Кто б ни были они в прошлом, сейчас они представляли одно целое, измученное обездоленное существо, голодное и жалкое.

Век правдой жити,  
Нам зла не творити,  
От праведных трудов  
Пищи соискати...

Заметив обоз, певцы прибавили в голос гнусавинки – для жалости – и приостановились. Умерили шаг и сопровождавшие их солдаты. Равнодушными взглядами скользнули по обозу, по лицам возчиков. Подаяние на этапе не возбранялось, наоборот, дополняло скудное казенное пропитание, из которого тайно и явно приворовывали многочисленные чиновники и прочий служебный народец. Всем есть-пить хочется; тащи из казны, что с пожара, в поле и жук мясо.

Возчики поделились с этапными кто чем мог. Перекрестясь, вкладывали в протянутые грязные руки хлеб, давали картошку, луковицы, «картовны и морковны» пироги, набранные

в Успенке, ватрушки со щавелем-кислоротом. Лица мужиков сосредоточенны, просветленны: как же, подаяние угодно Богу, после него душа свободно вздыхает.

Да и то подумать, жизнь – колючая нива, не пройдешь, ног не сколовши, от сумы да тюрьмы грех зарекаться. Кто ж его знает, как судьба своя собственная обернется – матерью али мачехой?

– Спаси тя Господь... – бормотали этапные и проворно прятали подаяние в холщовые сумки, пустой тряпицей болтавшиеся на пеньковой веревке сбоку; у кого сумок не было, совали за пазуху, скрывали в лохмотьях.

Несколько горстей ржаных сухарей отсыпал из своего тощего узелка и Крылов.

– Не взыщите, – стыдясь чего-то, проговорил он положенные в таком случае слова и отошел в сторону.

И только тогда заметил, что один Акинфий никак не участвует в общем деле. Даже с места не сдвинулся: как сидел на телеге развалившись, так и остался сидеть. Лишь глаза расширились, горят, кожа на скулах побледнела. Уставился на каторжников, словно опоенный, ничего не сообщает. Казалось, трясет парня какая-то лихорадка.

Нехорошее предчувствие тронуло Крылова.

– Что, Акинфий, здоров ли?

Акинфий с трудом выбрался из оцепенения, натужно осклабился.

– А чего мне, барин, сделается? – спросил, беря вожжи. – Мне всё ладно: либо так, либо сьяк, либо эдак, либо как!

Гикнул, щелкнул распушенным кнутом по земле – грязь только визгнула – и покатил вперед. Нищенское братание с каторжниками не интересовало его. Или он делал вид, что не интересуется. Не впервой встречал паренек кандальников, и в его уральской деревушке сердобольные сельчане по сибирскому обычаю на специальную полочку возле избы на ночь клали хлеб и махру для убогих каторжан, но именно сегодня ожгла его душу острая потаенная мысль: сколь много на свете людей, переступивших закон, не убоявшихся его строгостей, – и ничего! Оказывается, можно и так. И даже хлебом поделаются, последние сухари, как барин-тетерев, отсыпят. Оказывается, можно и так...

Милосердная песня осталась позади.

Ой раю, мой раю!  
Прекрасный мой раю...

Лошади втянули обоз на крутолобый взгорок. Открылись поля – желтые, светло-зеленые; среди них свежей заплатой чернел клин, распаханый под озимые. Из темного ельника выбелела церковь. Затем показалось и само поселение, предусмотрительно отступившее от большака подальше к лесу, в уютный распадок между холмами.

Оно было добротное, чистое. Весь мирный облик его говорил о том, то живут здесь не рукоуси какие-нибудь, у которых от лени губы обвисают блинами, а люди работающие, толковые. Через каждые пять дворов – колодезный журавль. Огороды сплошь унавоженные; так и прут из земли густые кружева моркови, редьки, брюквы; дружно ошетинились луком высокие гряды. По изгородям малина топорщится, под шершавым белесым листом алую ягоду прячет. Вот только ботвы картофельной что-то не видать... Неужто столь разумны здешние земледельцы, что вывели картошку в специальные поля, оставляя место на своих огородах для прочей культурной мелочи? Или тут что-то не так? На усадьбах, обнесенных изгородью, срублены крепкие дома-пятистенки. Здесь же дровяники, сенники, завозни – навесы для телег, стайки для скотины. Двускатные крыши из теса и дранки венчаны охлупнем – коньком в виде птицы или головы оленя. Три-четыре окна по фасаду – да все стеклянные. Бычьих пузырей нет и

в помине. Разве что у некоторых, видать, у более бедных, не могущих иметь дорогостоящее цельное стекло, в окна вставлены осколки, оправленные берестой.

«Привольно страннику на Руси. Стучись за полночь в любую крестьянскую избу, просись Христа ради переночевать – не откажут.

Да и то – ночлега с собой никто не возит, мир не без добрых людей»... – так думает каждый путник в преддверии непогодной ночи, завидя желтое мерцание лучины в окнах», – вспомнились очерки Сергея Максимова, знатока жизни странствующего люда.

Но это мирное опрятное село жило по каким-то иным законам. В крайней избе, и в соседней, и в следующей обозникам в приюте было отказано.

– Ступайте к старосте, – однообразно отвечали неприветливые женщины, пряча глаза под низко сдвинутые на лоб темные платки, и захлопывали тяжелые ворота с деревянными вазами на опорах-столбиках.

– А и де староста? – сердито вопрошал Семен Данилович.

– По-за церковью. В конце села. Где у нас этапный дом. Туда и ступайте.

Да, не похоже было, что здесь выйдут с куском хлеба, заслышав милосердную песню.

Пришлось гнать обоз через все поселение, к церкви.

Маленький толстый человек в серой поддевке, босой, размахивая «курашкой»-картузом, бежал навстречу. Он и сказался здешним старостой.

– Пожалте... господа... сюда, – давясь словами от бега, выговорил он и повел за собой подводы – далеко за божий храм, на отшибину.

Как выяснилось, в селе имелся специальный дом для приезжих. Что-то вроде постоянного двора, где можно было переночевать на полу, распрячь, покормить лошадей – из собственных запасов, разумеется. Только дом, двор и ничего более. И все-таки это была крыша, ночлег.

– Располагайтесь, господа, – кланяясь, сказал толстяк. – Не сумлевайтесь, у нас чисто... как у людей...

С какими-то непонятными ужимками и поклонами, которые должны были означать, по видимому, уважение к неожиданным гостям, староста вернул Крылову проездной лист, где было написано о том, чтобы должностные лица оказывали посильное содействие данному обозу на всем пути следования от Казани до Томска. Пообещав раздобыть у односельчан немного фуражу, он укатился прочь на проворных коротеньких ножках.

Какой, однако, нелепый этот староста. И село странное...

Вместо ребятишек, которые в каждой деревне прилипали к обозу, к этапному дому лениво подбрели трое молодцов, лузгающих семечки. Рослые, здоровые, и плечами Бог не обидел – им бы сейчас в тайге пни корчевать, пашню отвоевывать, а не кожуру на подбородок навешивать.

– Чегой-то везете, мужики? – полюбопытствовал один из них, и нездоровая алчба зажглась в его чистых голубых глазах.

– С вербы груши, из песка вожжи. Хочешь попробовать? – не очень приветливо ответил Семен Данилович, распутывая упряжь на рыжей лошаденке.

– Но-но, – предостерегающе возвысил голос голубоглазый детина. – Чать, не дома. У нас вожжами не балуются!

Парни как-то с умыслом, с намеком захохотали, но прочь пошли – не спеша, с достоинством, по-хозяйски.

В доме для приезжих держался упорно-тяжелый дух, словно бы под дощатым настилом, в подполье, прела козья шерсть. Крылов решил немного прогуляться.

Чистоту свое поселение соблюдало прежде всего оттого, что построено было на песчаном месте. Любой, самый настойчивый дождь уходил в него, как сквозь сито, не оставляя грязи. Беловатый песок украшал главную улицу, тускло просвечивал во дворах, расписанный волнистыми – от грабель – полосами, покрывал подступы к церквушке. Росшая под стенами божьего

дома ярко-зеленая монастырская трава превосходно сочеталась с побеленными стенами невысокой звонницы и главным приделом церкви. Покой, умиротворенность, порядок и незыблемость...

– Господин Крылов!

Крылов даже вздрогнул: за восемнадцать дней дороги совсем отвык от своей фамилии. Огляделся. Покрутил головой. Никого.

– Постойте, господин Крылов, – повторил все тот же взволнованный мужской голос.

И тут наконец он заметил, что голос принадлежит болезненного вида юноше, который приотворил окошко наверху в двухэтажном доме, стоявшем как раз напротив церкви. Лицо его, почти вполтину закрытое большими очками и кудерчатой реденькой бородкой, было Крылову незнакомо. Тем не менее он остановился и стал ожидать молодого человека, окликнувшего его.

Тот скоро появился, застегивая на ходу потертую студенческую куртку. Руки его, худые и неестественно желтые, дрожали, отчего пуговицы не попадали в петли, и было жаль глядеть на эти руки, и отвести взгляд недоставало сил.

– Покорнейше прошу извинить меня за то, что окликнул вас таким неподобающим образом, – проговорил юноша. – Но я не мог, Порфирий Никитич, не мог-с... Глазам своим не поверил – вы ли это? В наших-то пустошах...

Крылов вежливо приподнял козырек фуражки, по-прежнему не припоминая, где он мог встречать этого юношу.

Уловив напряженность и сомнение в его взгляде, молодой человек вспыхнул.

– Простите великодушно, господин Крылов... Совсем зарапоровался от радости! Разрешите представиться: Троеглазов, Григорий Севастьянович. Студент Императорского Казанского университета.

То есть, бывший... – он смутился окончательно.

– Очень приятно, господин Троеглазов, – облегченно вздохнув, пожал ему руку Крылов.

Раз студент, значит, несомненно, встречались. А то, что так и не вспомнил лица молодого человека, следует отнестись за счет рассеянной избирательной памяти, в которой прочно удерживались лишь цветы да травы...

– Милости прошу в дом, Порфирий Никитич, – робко пригласил бывший студент, и Крылов не смог отказать.

Комнатка на втором этаже оказалась опрятной, выбеленной и заставленной самодельными полками с книгами. Передний угол, по правую руку, наискосок от небольшой голландки, расписан маслом: вместо икон – растительный орнамент из цветов и листьев. По стенам развешаны коллекции бабочек и жуков. Пахнет засушенными цветами, травами. Запах слабый, но Крылов уловил его и даже носом потянул от удовольствия.

Несмотря на довольно просторное высокое окно, в комнате, однако, светло не было. Может быть, свет заслоняла церковь, а может, оттого, что сам нынешний день заканчивался пасмурно.

– Прошу покорнейше садиться, – пригласил Троеглазов и умчался куда-то вниз, перебежав через несколько ступенек.

Вернулся он с большим медным подносом, на котором стоял приземистый широкобокий самовар, чашки, сахарница и плоское берестяное блюдо с малиной.

– Не стоило беспокоиться.

– Как же, как же, – решительно запротестовал Троеглазов, устанавливая принесенное на трехногий венский столик возле окна. – Без чаю не отпустим!

Смешиваясь с нежным ароматом китайского чая, от блюда поднимался дразнящий запах малины.

– Благодарю вас, – сдался Крылов. – А вы что же здесь так и живете? На летних вакациях?

– Да, – опустил глаза юноша и грустно добавил: – Только мои вакации бессрочные. Отчислен я. По причине расстроенного здоровья. У меня бугорчатка. Чахотка скоротечная. Вот приехал домой, к отцу...

Крылов подосадовал на свой вопрос, хотел что-то сказать, перевести разговор на другое, но Григорий опередил его. Вскинул потупленный было взгляд, подтолкнул вверх двумя пальцами дужку очков и задорно произнес:

– А я не верю, что умру. Не верю-с! То есть умом я понимаю, что конец неизбежен, и, возможно, он даже близок – а не верю!

Крылов одобрительно кивнул.

– Батюшка мой священник, – продолжал Троеглазов. – Вот он уже придет, вы увидите... Занятный человек, с ним поговорить прелюбопытно. Он не такой священник, как все, – подчеркнул он снова слова «как все».

– А чем вы сейчас занимаетесь?

– Гербаризирую. Ах, с каким удовольствием я гербаризирую в окрестностях, – с жаром ответил юноша. – Я ведь, Порфирий Никитич, у профессора Коржинского общий курс ботаники успел прослушать. И к вам уж записался в ботанический музей на практику.

Да заболел... Но я все помню! Вот, извольте взглянуть...

Он достал со шкафа папку с гербарными листьями.

– Ну-ка, ну-ка, – оживился Крылов. – Что тут у вас? Любопытно, коллега...

Позабыв о чае, о малине, они занялись гербарием.

Собран он был, конечно, со старанием, но бессистемно. Как все начинающие, Троеглазов брал все подряд и нигде не отмечал местонахождение того или иного растения. Крылов указал ему на это.

– Очень важно знать, где и сколько чего, – дважды повторил он. – Иначе половина смысла всей работы теряется. Захотят люди, к примеру, воспользоваться зарослями зверобоя, а где его искать?

Григорий обещал впредь вести сборы с подробными записями.

– Осмелюсь спросить, Порфирий Никитич, отчего вы Казань покинули? Просвещенный город, наукам не чуждый... И едете, как вы изволили выразиться, в землю неведомую. Слышал я, вы уже много статей научного характера создали. В доктора наук могли выйти, как Сергей Иванович Коржинский. Или я в чем-то ошибаюсь?

– Нет, сударь, не ошибаетесь, – ответил Крылов и закрыл гербарную папку. – Что вам на это сказать? Казань действительно благоприятствует занятиям наукой. Университет тон задает. Но я ботаник, – он как-то смущенно и в то же время задорно улыбнулся. – Сама профессия предполагает движение. Я всегда мечтал устремить себя на познание малоизученного края. А Сибирь таковой мне и представляется. Стало быть, и я здесь.

– Ах, как бы я желал быть полезным науке! – горячо воскликнул Троеглазов. – Это ведь так благородно: отдать свою жизнь девственной Naturе! Но и несбыточно... для меня...

– Зачем же отдавать жизнь? – ласково усмехнулся Крылов, ему нравился пылкий юноша, и хотелось как-то его приободрить. – А полезным вы, милостивый государь, вполне можете быть. Доведите гербарий. Ежедневно занимайтесь наблюдениями над местной флорой. Ничего не пропускайте. В науке нет мелочей. Особенно для систематиков, флористов... В следующем году предполагается открытие Сибирского университета, можете и в Томск пожаловать. Буду рад вам от всего сердца.

– Благодарю вас! – Троеглазов порывисто пожал руку Крылова. – Да я за это время...

Глаза его загорелись надеждой, щеки порозовели.

Хлопнула внизу дверь. По лесенке раздались бойкие шаги, и в комнату заявился отец Севастьян. Ряса на боку, надета криво и наспех. Выветрившаяся бороденка всклокочена, скудные седенькие волосы на голове в торчок. Вид, в общем, никак не приличествующий ни сану,

ни положению. Нос-пуговка подозрительно красноват. Глаза же, тронутые старческой голубизной, невинно безмятежны.

– Это господин Крылов, батюшка. Из Казани. Проездом в Томск. Мой учитель и весьма чтимый в научных кругах человек, – с гордостью отрекомендовал гостя Григорий.

Крылов поднялся навстречу хозяину дома, поздоровался.

– Сиди, мил человек, – громко заговорил отец Севастьян. – Я тебя и так благословлю.

Он быстро, как бы между прочим, осенил крестом гостя, сына и, шумно втянув блестящий пуговкой чайный дух, проворно устроился за столом.

– О чем беседу ведете, господа? – повертел головой в одну и другую сторону.

– О травах, папаша, – ответил Григорий. – Вам неинтересный материал.

– Верно! – не обиделся отец. – Не смысли в науках, слава те и прости мя, Господи! Вот сейчас баб заставил к дороге подаяние снести – и премного доволен. С меня и этого хватит.

– Этапным? – догадался Крылов.

– Им, батюшка, им. Село наше, Овчинниково, в стороне от тракта стоит. Этапные сюда не заходят. Маршрутом не велено. Мимо идут, к Крещеной слободе. А там татары живут. Христианам ни в жисть не подадут. Вот и выходит, двое суток, а то и все трое каторжные напустую бредут. В иные годы, по весне особливо, много их мерло вдоль всего тракта... Ну и надумал я: к дороге выносить христово подаяние. Как заслышу за лесом Лазаря, бегу баб ловить. Прячутся, антихристово семя! Оне ведь тоже вухи имеют... Вот ты скажи, мил человек, отчего такая закономерция получается? Как человек сытнее, так жаднее.

От скупости зубы смерзаются, что ли?

– Не знаю, отец Севастьян, – ответил Крылов. – Сам иной раз голову ломаю. Расскажите лучше, что за деревня ваша? Необычной показалась. Или я ошибаюсь?

– Не-ет, – потряс бороденкой священник. – В самый корень зришь, сын мой.

И он с жаром принялся описывать гостю здешнее житье-бытье. Выяснилось, что Овчинниково – раскольничье поселение. Основал его беглый солдат Овчинников, в веру ударившийся после того, как на него снизошло. На грозовом небе огненные божьи слова прочитал: «Волну и млеко отъ стадь емлете, а об овцех не пекётесь». Самое чудо заключалось в том, что солдат был неграмотен. А тут прочитал. И принялся беглый воин пекчися об овцах. Организовал секту, впал в раскол.

– Что есть раскол, надеюсь, вы, православные господа, разумеете? – важным тоном спросил отец Севастьян. – Вот, к примеру, хорошая убоистая дорога. Тракт. Большак либо шлях. Все едино. Добрым людям идти удобно, широко, никто никого не пихает. Однако же непременно и обязательно найдутся такие, коим покажется, что бресть по козьей тропке короче да своеобычнее. Вот и отбиваются с большака, рассеиваются по сторонам, а иные и заплутаются и сгинут в дьявольских зарослях... Так и в религии. Православие и раскол всегда рука об руку шли, вместе.

– В чем же состояло новшество беглого солдата Овчинникова? Слышал я, секты в Сибири, будто опенки, кустятся, – сказал Крылов, с интересом слушая священника, на которого говорун напал.

– А в том и состояло, что никакого новшества! – отец Севастьян торжествующе поглядел на гостя, и тот вновь подивился детской безмятежности и невинности его взора. – Ни-ка-кого! Где дрова рубят, там и щепки валяются. Де раскол, там и что-то среднее неизбежно и обязательно образуется. Ни то, ни се. А если потверже сказать, и то, и се...

О секте Овчинникова отец Севастьян говорил с каким-то странным для его священнического сана удовольствием, словно бы даже выхваляя то разумное, что в ней имелось.

Во-первых, трудолюбие. Овчинниковцы на работу звери. Лютеют прямо-таки, когда за плуг-рукопашку, или за топор, или за косу-горбушу берутся. Баб себе под стать выискивают,

трехжильных, рукастых. Чтоб, значит, за троих ломила: и в поле, и в доме, и в молельной часовне могла в плясун-день до утра на ногах устоять.

Во-вторых, скромность. Паневы, сарафаны, платки, азямы – все только темного цвета. На чужого мужика или бабу ни взгляда, ни полвзгляда. За непотребство в этих делах тотчас вон из общины.

На стороне поглядывай, а в секте не смей.

В-третьих, обособленность. Никакого чужого ни в дом, ни на порог, ни за стол. А сами, ежели оскоромились, где к чужому прикоснулись, сей же час должны мыться в бане. Коли нет бани либо в дороге несподручно, хоть в реку полезай, хоть в лужу, но от греха очистишься. Случись все же обмирщиться: с православными поесть, в одной церкви постоять – голодом себя наказуют. Сильно обмирщился – десять ден поголодай, не сильно – и два-три хватит. Картошку, или, как в Сибири говорят, «яблочку», не садят. Грех. Сатанинская овощь.

Не зря-де еще совсем недавно, при царе Николае I, по всей России картофельные бунты сотворялись... Чай не пьют: на трех Соборах проклят. Кофе – тоже: на семи Соборах запрещен. Вместо чая бадан либо посорок узлоколенный заваривают.

– А в-четвертых, оне выдумали, что хороша и богоугодна лишь та молитва, к словам которой надо прибавлять ох-охо-хо, – закончил отец Севастьян загибать грязные короткие пальцы. – Прочии секты над ними по всёй Сибири смеются, охохонцами кличут.

– Весьма любопытно, – вставил с улыбкой Крылов. – Однако ж в Сибири всё какое-то необычное.

– Совершенно справедливо изволили заметить! – подхватил отец Севастьян. – Вот и я о том же твержу: всё необычное! Рази можно ко всем нечесаным с одним гребнем подступать?! Столь много запрещений на старообрядцев выходит, таких крутых и резких, что я своих овчинников давно должен был бы в проруби перетопить. А кто пахать станет? Кто рыбу ловить? Детей на свет нарождать? Эдак-то с запрещениями да с сожжениями земля обезлюдует. Вот я, грешник великий, и сужу... Не велено выносить померших раскольников на их собственные кладбища – а я не воспрещаю. Записываю браки в свою книгу, хоть и не венчаю. Не неволю. Мало ли чего. Ну, повесили они на своем молельном доме чугунные билы по углам – а я не вижу! Зато оне церковку соорудили. Общинный дом двухэтажный построили...

– Винцом угощают, – вставил укоризну в речь расхваставшегося своей веротерпимостью отца Григорий.

– А и винцом! – строптиво подтвердил тот. – Перед богом мне одному ответ держать, никому иному. Меня Бог поймет. Я хоть так, да верую в Господа! А вот ты...

Спор готов был разгореться не на шутку, но Крылов сказал примирительно:

– Насколько мне известно, у верующих и неверующих есть общие заповеди. Одна из них: терпимость. Разумеется, при условии, что терпимость одного будет равна терпимости другого. Не так ли?

– Истинно так, – обрадовался отец Севастьян. – Если бы проповедники ото всего хоронились, как того требует сын мой, они не смогли бы указывать прихожанам путь к праведности. Взять винцо.

Оно согласует несогласованных, превозмогает непревозмогаемое, радует безрадостных.

– Вино скотинит и зверит человека. Пьянство – это добровольное безумие, – возразил Григорий. – Так говорят мудрецы!

Отец не обратил на его слова никакого внимания. Он тяжело задумался, потом доверительно опустил голос:

– Я вижу, мил человек, сердце у тебя внимательное. А потому прими совет: не трогай обоз ни темным утром, ни светлым вечером. Дождись других путешественников. Так-то оно верней: при православной церкви побыть. Места у нас беспокойные, всякое бывает.

– И правда, Порфирий Никитич, задержитесь! – обрадовался Григорий. – Я вам многое имею показать.

– Спасибо, голубчик, – улыбнулся его порыву Крылов. – Рад бы, да не позволяют дела.

Слова отца Севастьяна встревожили его. В них прозвучало нечто большее, чем предостережение.

– Ничего. Люди в обозе надежные. Я скажу им, – вслух подумал Крылов.

– Скажи, – кротко согласился отец Севастьян.

– Спасибо за совет.

Крылов встал, показывая, что вынужден откланяться. Час поздний. Рад был знакомству.

– Я провожу вас, – стремительно поднялся Григорий.

Некоторое время Крылов и Троеглазов шли молча. Оба несознательно замедляли шаг. Было чего-то жаль, казалось, так много еще недоговоренного...

– Ежели вы не станете возражать, я дам вам задание, – сказал Крылов. – Поговорите с местными травознающими, поспрашивайте, чем народ лечат? Чрезвычайно интересное и для науки полезное дело. Как вы на это смотрите?

– Я? Да я... Я все выполню, Порфирий Никитич! Вот увидите! – ответил взволнованно Григорий, и Крылов почувствовал, что именно этих слов он от него и дожидался: не жалости, не вежливого соучастия, но дела. – Вот только... У меня, кроме «Хозяйственной ботаники», ничего нет.

– Щеглова? – уточнил Крылов. – Неплохое пособие. Я сам когда-то по нему штудировал.

– Однако у Щеглова нет ключа к растениям, – посоветовал Троеглазов. – Как вид определить? Семейство?

– Да, прискорбный факт, нет у нас до сей поры удобных определителей. Да и сама флора только-только начинает быть описываема, – согласился Крылов. – Что мы имеем на сей день? Более или менее подробно взята флора Московской губернии. Да еще немного из центральной части России. Да обрывочные записи путешествующих ученых... Сибирь же – вся! – есть почти неизведанное целое. Об Средней и Центральной Азии то же самое сказать можно, несмотря на то, что именно в этих землях проходили самые выдающиеся путешествия последнего времени. Специально ботаникой в них мало кто занимался. Восток на Теплом, то бишь Тихом, океане тоже тэрра инкогнита... А северные провинции?! Представляете, Григорий Севастьянович, какие усилия необходимо употребить, чтобы все в порядок привести, описать! Грандиозная цель...

Вечер совсем уж обнял Овчинниково. На раскольничьем погосте давно успокоился беглый солдат, передавший ей свое имя, свою надежду на особого, мужицкого бога, который обязан защищать тех, кто без усталости работает, живет в скромности и чистоте. Его собратья-охохонцы ужинали, доили коров, готовились к новому дню. Странная, непонятная для постороннего человека жизнь протекала за этими тяжелыми бревенчатыми стенами, за массивными воротами. Крылов, привыкший уважать жизнь во всякой ее форме и проявлении, шел по безлюдной улице и думал о том, что никогда не устанет поражаться разнообразию жизни, ее неискоренимости...

Думал о Сибири...

Все-таки он правильно поступил, что принял предложение попечителя Западно-Сибирского учебного округа Василия Марковича Флоринского, бывшего профессора Казанского университета, и решил переехать на жительство в Томск.

Как много людей спешат перебраться в столицы, поближе к центрам, забывая о том, что речная воронка лишь издали кажется безобидным водовращением. Конечно, можно приспособиться, научиться жить и в воронке. Там тоже есть и свой верх, и свой низ. Но человек – правильно говорили древние! – существо не только прямоходящее, но и вперед глядящее. Ему простор нужен. Где как не в Сибири ощутить его!

Думал о людях, которые повстречались здесь. О Григории Троеглазове, оставшемся позади, в темноте, наедине со своим гибельным нездоровьем. Кто он, Крылов, такой, чтобы распорядиться последними днями молодого человека? Кто вообще может указать, что в жизни делать должно, а от чего воздержаться?

\* \* \*

Поднялись засветло. Загомонили, задвигались, отходя ото сна. От запаха козьей шерсти болела голова.

Крылов отвел в сторону старшого:

– А что, Семен Данилович, не дожидаться ли нам попутчиков? Слышал я, за Овчинниковым беспокойно.

– Воля ваша, – степенно согласился тот. – Можно и дожидаться. Только кто ж его знает, когда они появятся? То ли нынче, то ли послезавтра подойдут? Один переход всего и остался. А там, глядишь, и Тюмень рядом.

– Действительно, – заколебался Крылов. – Если ждать, к пароходу не успеем.

– Мы обережемся, – пообещал старшой. – Коля наверх вынем, между возами веревки пустим, станем идти с оглядкой.

– Так тому и быть, – решил Крылов. – Действуй, Семен Данилович.

Старшой пошептался с возчиками. Те сразу как-то подобрались, умолкли, начали объясняться больше знаками, чем словами. Из села выступили торопливо, дружно.

Тракт в этих местах устремился вперед просторно, но в иных частях, будто река после половодья, распадался на несколько рукавов. На таких-то рукавах, продиравшихся сквозь болотистый кустарник или чернолесье, способнее всего устроить засаду.

Каждый раз на разветвлении Семен Данилович снимал картуз, шептал что-то, крестился, потом решительно указывал направление. Сам шел следом. Порой, бросив поводья, пропускал мимо весь обоз. Часто останавливался, прислоняясь к дереву, слушал.

– Комедию ломает! – ухмылялся Акинфий, наблюдая за ним. – Цену перед барином набирает.

– Глупый ты ишшо, – отзывался на это лёля. – Тебя жареный петух не клевал, вот ты и забавничаешь. Поостерегись, милый, кабы не ошибиться.

– Небось не ошибусь...

Большую часть намеченного на день пути одолели без происшествий. Это придало всем бодрости, расправило угрюмые складки на лицах, развеселило шаг. Акинфий хотел было запеть, но Семен Данилович оборвал его:

– Не базлай. Успеется.

Солнце клонилось к закату, когда тракт в очередной раз распался натрое. Старшой выбрал дорогу через смородинники. И напрасно. Здесь-то и поджидали их охотники до чужого добра.

Они появились внезапно – в вывернутых наизнанку бараньих шапках, в рваньё; лица спрятаны в полотняные наголовники, а то и просто обтянуты чулком. Сбив с ног лёлю и Акинфия, шедших за последними подводками, подступили к лошадям. И все это молча, деловито, будто ежедневную крестьянскую работу выполняли.

Как ни готовились спутники Крылова к нападению, а все равно растерялись, замешкались, убоились грозно вскинутых ножей и дробовиков. Кто знает, как повернулось дело, если бы откатившийся в кусты старик-лёля не сложил ладони горстями одна к другой и не затрубил в них истошно, устрашающе.

Нападающие замерли, не понимая, откуда берется этот непонятный звук, гулкий, словно глас божий.

Их замешательством воспользовался Акинфий. Стремительно вскочив на ноги, он боднул одного из обидчиков в живот, другого ожег по лицу кнутовищем, сорвав при этом часть чулка. На него глянули знакомые голубые глаза. Да это же один из овчинниковских парней, подходивших намеренно с расспросами!

– А-а-а! – завопил Акинфий, взвинчивая себя еще больше. – Бе-е-й овчинных!

Но уже и без его команды возчики махали рогатинами, кольями, стреляли длинными ременными плетями, бежали мимо Крылова, в самую гущу схватки.

Побежал и Крылов, не замечая, как сами собой сжимаются кулаки, а в горле клокочет гнев. Драться ему прежде не приходилось, но он почувствовал, что сейчас сумеет... Должен суметь... Вон как ловко действует Акинфий. Куда только сонливость его подевалась! Совсем другой человек – огневой, с веселым оскалом рассеченных в схватке губ, ищущий опасности, живущий ею.

Засмотревшись на него, Крылов упал, больно ударился о придорожный камень. Почувствовал, как пошла носом кровь.

Первым в бегство обратился синеглазый детина. За ним остальные. Они даже отбиваться не стали, до того перепугала их сорванная с лица сотоварища маска и крик «бей овчинных! Последним закивал пятками толстяк. Его фигура показалась Крылову знакомой. Уж не овчинниковский ли это староста, устраивавший их на постой, совмещает в себе и другую, ночную, профессию?! Ай да скрытник, ай да выборный чин! Догнать бы. Да не так скор был Крылов на ногу, как этот брюхан, нагулявший привычку к грабежам.

– Это же те, сельские, – тяжело дыша, говорил возчикам Акинфий. – У которых мы ночевали. Я сразу здогадался.

– Показалось, – отмахнулся Семен Данилович. – Эвон в какую даль мы отъехали! Нешто они следом попрутся?

– Еще как попрутся! – хмыкнул парнишка. – Думают, у нас в корзинах добро доброе, что его на любом торге купят. А у нас... Эх, жаль, не за то богатство в глаз получил!

– Ты язык-то попридержи, милый, – хмуро посоветовал Семен Данилович. – Во всех смыслах. Так оно спокойнее будет. А то ведь ненароком не на тех сказать можно, и получится неудобность... Хозяин к нам со всем уважением...

Будто почувствовав, что говорят о нем, подошел Крылов. Кровь из носа он остановил, посидев немного с запрокинутой головой. Теперь он вдыхал запах растертой между ладонями мяты.

– А ты молодец, Акинфий, – похвалил он. – Сейчас и тебя лечить будем.

– Не я молодец – лёля.

– О нем и речи нет, он – герой!

Груз не пострадал. Убедившись в этом, двинулись дальше.

Воистину загадочен Великий Сибирский тракт. Кого только не явит он на всей своей протяженности, с кем не познакомит... Ведущий свое начало от старательного проекта думного дьяка Андрея Винууса, ездившего в Сибирь в 1689 году для установления «государевой почты», вымеренный и обставленный верстовыми столбами к началу XVIII века, он издавна жил особой, непокорной, мало кому ведомой жизнью. Узелками вязались на нем селения, ямы, жители которых сначала по принуждению, а потом по своей охоте и укоренившейся привычке занимались ямщиной, извозом. Для таких людей, родившихся и умирающих при дороге, Сибирский тракт был кормильцем и поильцем. Помимо ямщины и товарного извоза всходили постоянные двory, росли поколения мастеров: шорники, кузнецы, кузовщики, колесники...

Не стояла на месте, усовершенствовалась и скрытая притрактовая жизнь. Не у ремесла, так у промысла: родилось племя трактовых охотников. Одни угоняли лошадей, другие охотились за купцами, третьи наловчились на ходу срезать тюки с товаром, четвертые именовали себя чаерезами, их интересовали преимущественно туго увязанные, непромокаемые цыбики с

китайским чаем, переправляемые в Россию из Кяхты. Пятые совершали и то, и другое, и третье, не гнушаясь порой и убийством. Здесь, на тракте, даже погода считалась хорошей, когда бушевала метель, завывала пурга, ложился плотный туман или вызревали грозные дожди.

Крылов вспомнил, как в «Петербургской газете» молодой писатель-юморист Антон Чехов назвал Великий Сибирский тракт «черной оспой», намекая на еще одну, всем известную сторону его существования – кандажную. Чьи только цепи не звенели здесь... Пугачевцы, запорожцы, декабристы, демократы... Много их шло этой дорогой вперемешку с уголовным людом и всякого рода возмущенцами.

«Да, но и книги, и культура тоже шли в Сибирь этим же путем, – подумал Крылов. – Как все, однако, в мире перемешано. Добро и зло соседствуют рядом, тесно. Овчинниковский староста и студент Григорий Троеглазов живут на одной улице, ходят по одной земле...»

Возбужденный дорожным происшествием, Крылов долго не мог успокоиться. Полосатые верстовые столбы, изредка возникавшие по обочинам, немые свидетели истории Великой Сибирской дороги, напоминали о том, что пока жив человек, всегда остается впереди некий отрезок пути, который предстоит еще миновать и который неизбежно таит в себе неведомое.

## О чем думает река

Тюмень встретила усталых путников сутолокой, грохотом подвод по булыжным мостовым, брехом северных собак, сопением и шипением дымных труб каких-то заводиков и фабриченок. Беспризорные псы увязались за обозом и сопровождали его до самой пристани хриплым лаем.

Отвыкший от городского шума, от суеты, Крылов оглушенно смотрел по сторонам, не понимая, отчего это незнакомый город словно вздыбился, исходит в грохоте и криках, куда спешат люди с узелками, корзинами, зачем волокут за руки плачущих детей, сами тоже измученные и дерганые...

Оказалось, эти люди были переселенцами. И торопились они туда же, куда направлялся и обоз, к пристани, где они должны были сесть на пароход и плыть дальше.

Крылов знал о великом движении безземельных крестьянских семей из голодающих губерний Поволжья и центральной России. Знал, что движение это – на новые земли – поощряется государственными властями, что само по себе заселение пустующих пространств богатого дикого края есть дело чрезвычайной важности и необходимости. Но видеть вблизи это самое движение ему довелось впервые.

Из толпы пестро, разномастно и потрепанно одетых людей взгляд выхватывал лица, фигуры... Они врезались в память прочно, казалось бы, навсегда. Угрюмые, пьяные, веселые, бесшабашные, безразличные ко всему лица мужиков. Скорбные лики женщин, облепленных детьми. Темные и сморщенные, как печеная сибирская «яблочка», лица старух, изо всех сил поспешающих за своими детьми и внуками в страхе не потеряться бы, не отстать... Немудрящий, громоздкий скарб: подушки, сундуки, самовары, мешки – все это загоразивало дорогу, мешало движению. На всем лежал отпечаток общей беды, которая гнала людей в неизвестность, торопила, заставляла бессмысленно метаться, ронять вещи, кричать на детей, друг на друга, громко призывать господ, сквернословить и плакать... Казалось, никто и ничто не сможет упорядочить эту толпу, понять ее стремления и надежды.

Но это только казалось. Едва толпа вытекла из многочисленных улиц и переулков на пристань, как обнаружилась и цель, и надежда ее: пароход «Барнаул» какого-то предприимчивого дельца Функе, чье имя красным маслом было выведено над гребными колесами. Как выяснилось позже, это было специальное судно для переселенцев, самое дешевое из всех, курсировавших на линии Тюмень – Барнаул. К нему-то и рвались обнищавшие, впавшие в разорение из-за многодневной дороги люди, для которых бессмысленное сидение на берегу в ожидании следующего транспорта – без денег, без пищи, без работы – было равносильно гибели. Вот отчего посадка на «Барнаул» походила на сражение, на штурм укрепленной крепости безоружной армией. Крики, толчея, давка, слезы...

Смотреть на все это было тяжело.

В висках застучали молоточки. Крылов стиснул руками голову, желая приглушить разрастающуюся боль, и потерянно прислонился к дощатой изгороди, выделявшей территорию пристани из прочего пространства.

Здесь его и отыскали Пономарев с Габитовым.

– Порфирий Никитич, голубчик, что с вами? – в тревоге воскликнул Иван Петрович, бросаясь к нему. – Господи, да что же это такое?! Мы с Габитычем уж второй день вас встречаем! Ждем-ждем, а вас все нет... Чего не передумали... Аль на тракте что стряслось? Аль заболели? Слышим – прибыли. Обоз целехонек, возчики растения сгружают у багажной конторы – а вас опять нет! Господи...

– Погоди, Иван Петрович, – с трудом разлепил горячие веки Крылов. – Я сейчас... Нет ли у тебя попить чего?

– Сей момент! – обрадованно отозвался Пономарев. – Габитыч, подавай-ка сюда бутылку с квасом! Как чуяло мое сердце, в пристанском буфете запасся.

Молчаливый Хуснутдин, худой и высокий, словно жердина, темный и лицом, и глазами, и кожей, и стриженной головой, приблизился на зов и протянул зеленую бутылку.

– Что же ты, братец, пробку-то не ототкнул? – укоризненно прошептал ему Пономарев и зубами вытянул из горлышка бумажный кляп. – Ты, братец, завсегда укупуришь так укупуришь! После тебя хоть щипцами тяни.

Крылов жадно и крупно глотнул квасу, пахнувшего кислым хлебом и медом. Потом еще... И шумно, как бы освобождаясь от чего-то давящего, тормозящего внутри, выдохнул:

– Хорошо...

И улыбнулся ласково, чуть смущенно.

– Ну, здравствуй, Иван Петрович! – обнял одной рукой родственника, с преданной заботой глядевшего на него. – Ну, будь здоров и ты, Хуснутдин, – другую руку положил на крепкое, неровное, будто нешлифованный камень, плечо рабочего. – А вы все пикируетесь, друзья мои? Все вас мир не берет?

Скулы Габитова дрогнули, и по серым губам его скользнула короткая белозубая улыбка – только тем и проявил сдержанный татарин свою радость от встречи с хозяином.

Иван же Петрович сиял и глазами, и очками, и впалыми щеками, и улыбался радостно, и руками всплескивал: слава Господу, вновь они вместе, все преотлично! Он всегда так – и радуется шумно, от души, и тревожится по малейшему пустяку до отчаяния. Одиноким, не цепкий в жизни до беззащитности, старательный и бесполезный в практических делах, он души не чаял в Крылове, верил в него не раздумывая, стоял перед ним во всегдашней готовности повиноваться, спешить куда-то по малейшему его слову, жесту. Таков он, Пономарев, сорокалетний ребенок, всегда нуждающийся в ласке и покровительстве...

Крылов вздохнул, еще раз притиснул к себе плечи своих помощников и отпустил. Что, право, разрадовались? Ну, встретились, до Тюмени благополучно добрались... Ан впереди еще треть дороги. Как-то они, помощнички, специально высланные вперед, справились с заданием?

Словно догадавшись о его мыслях, Пономарев шутливо приложил руку к соломенной шляпе, вытянулся во фрунт.

– Разрешите доложить?

– Докладывайте.

– Билеты на пароход компании господ Курбатова и Игнатова приобретены. Второй класс. Багажные квитанции оплачены. Нумера в гостинице забронированы. Отправление же назначено завтрашним числом. Все!

– Отлично, Иван Петрович, – похвалил Крылов. – Значит, мы успели вовремя?

– Вовремя, Порфирий Никитич, вовремя! – так и вспыхнул от похвалы Пономарев. – А я так волновался за вас, так ждал... Прошу пожаловать в гостиницу. Она тут же, на пристани, близенько!

– Как же груз? – озаботился Крылов, хотя ему до смерти хотелось поскорее умыться, привести себя в порядок, отдохнуть.

– А Габитов на что? – качнулся вперед татарин, показывая свою готовность проследить за разгрузкой и посторожить корзины.

– Что ж, пойдём в гостиницу, – согласился Крылов. – Вот только разочтемся с возчиками.

Прощание с артелью Семена Даниловича состоялось тут же, на пристани. Получив уговоренные деньги, возчики стащили с голов соломенные, валеные шляпы, «курашки», поломанные картузы – и в пояс поклонились хозяину.

– Не сердчай, барин, коли што не эдак, – прогудел Семен Данилович. – Не поминай лихом.

– Что вы, братцы, – растрогался Крылов. – Что вы такое говорите, Семен Данилович? И успели к сроку, и поклажа в сохранности... Я вам чрезвычайно благодарен!

– И мы премного довольны, – степенно ответил в свою очередь старшой. – Будет нужда... мы всегда...

– Да, да, конечно! Будьте здоровы. И спасибо за службу, – Крылов по очереди пожал мужикам тяжелые, будто свинцом налитые, узластые руки. – Вы уж сильно здесь, в Тюмени, не того... Соблазнов много, поостерегитесь.

– Да мы, конечно... Нешто не понимаем, барин, – забормотали мужики, хотя по их глазам было видно, что прямо отсюда устремятся они в долгожданный трактир. – Да нам и не можно... Лошадей куда ж...

Дольше других Крылов задержал в своей ладони узкую, холодную, как лед, руку Акинфия.

– Прощай, Акинфий. Да помни, что я говорил тебе. Понадоблюсь, ищи меня в Томске, в университете. Кто знает, может, пригожусь?

– Прощай, барин, – хмурясь отчего-то, пряча глаза, ответил паренек. – В каждой избушке свои поскрыпушки. У тебя своя дорога, у реки – своя, у меня – третья.

– Так ведь и дороги сходятся, – не согласился Крылов. – Экий ты, право, Акинфий.

– Каков есть.

С лёлей пообнимались троекратно, по-русски.

– Спасибо тебе, отец, за науку, за рассказы твои. Любопытно мне было с тобой, полезно, – сказал Крылов.

– Да вить... оно так, – прослезился дедок. – Хороший ты барин, оно и любопытно. Може, не эдак выходило, не прогневайся А мы што, будем жить-поживать, мед-пиво попивать. Наше дело такое, где упал, там и вставай...

И он раскатился мелким дробным смехом, озаряя напоследок, полюбившегося барина доверчивой пустотой младенчески беззубой улыбки. Таким и запомнился.

Великий Сибирский тракт свел Крылова с людьми, ставшими за время путешествия близкими. Он же и разъединил их, уступая власть свою другой великой дороге – реке.

Номер в пристанской гостинице оказался вполне сносным. Даже с видом на Туру.

Крылов подошел к окну, распахнул. С заречных долин доносилось слабое дыхание сенокоса, затем оно пропало, сменившись душновато-кислой вонью дубленых кож.

– Закройте окно, Порфирий Никитич, – заботливо посоветовал Пономарев, готовя таз, кувшин, воду и полотенце. – Мы уж с Габитычем узнавали. Здесь как раз напротив кожевенные да овчинно-шубные заводы почитай со всей Тюмени собраны. Так что оно и понятно... Местные сказывают, даже купаться нельзя. Опасно! Накожную болезнь подхватить можно!

Крылов с сожалением прикрыл створки. Настроение, приподнятое было хорошим видом на реку, поугасло. И отчего же так получается неладно?! Человек и природа никак не могут ужиться друг с другом. Либо она его наказует стихиями, бурями да землетрясениями. Либо он ее изводит под корень... Что с этой бедной Турою станет лет через двадцать-тридцать? И рыба уйдет, и вода погибнет, от ядовитой грязи задохнется...

На высях нагорных свобода и воля!  
Эфир не отравлен дыханьем могил;  
Природа везде совершенна, доколе  
С бедою в нее человек не вступил.

Шиллеровские стихи из «Мессинской невесты», запомнившиеся с юности, наполнились вдруг особым смыслом.

– ...Дубленки здешние на всю Сибирь славятся, – спешил избавиться от груза добытых сведений Пономарев. – Тюменцы кожи-то выделанные в Барнаул поставляют. А там наловчи-

лись барнаулки шить. Видали, может? Модные нонче полушубочки! Вот приедем в Томской, получите жалование, и вам такую закажем. Модную да теплую.

– Да, да, Иван Петрович, непременно, – рассеянно ответил Крылов. – Что еще здесь имеется знаменитого?

– А ковры! – с готовностью откликнулся Пономарев, старательно поливая мимо рук. – Яркие-преярые! И все цветами, букетами да бутонами по темному полю. Все мальвы да георгины... Мохровые ковры делают, с ворсом. И паласы безворсовые тоже. На паласах узор попроще: олени, кошки, собаки, кони. Но тоже ничего. И главное, экзотично! Чисто по-сибирски. Еще сундуки ладят кованые. Из кожи налима кошельки выделывают...

– От Маши не было писем? – прерывая падкого на экзотику Пономарева, спросил Крылов.

– Нет, Порфирий Никитич, не было. Да и не уговаривались ведь. Ужо до Томска потеряете, напишет Машенька. Непременно напишет. Я сестру знаю.

Крылов склонил голову, подставил под струю воды прокаленную в пыли и на солнце шею. Он тоже знал Машеньку: скупа на письма, не побалуе лишней, не обещанной лаской... Ну да и он сам хорош, тоже не Сахар Медович: одну только депешу из Камышлова и отправил жене...

Струйки воды скатились с плеч, щекоча, потекли под сердце. Мысли о жене всегда вызывали в нем неосознанную тревогу, чувство непонятной виноватости, детское желание спрятаться, будто вот сейчас, сию минуту, скрипнет дверь и войдет Маша, со своим немигающим взглядом, с укоризненно поджатыми бледными губами: «Ах, друг мой, вы опять наплескали на пол...». Он любил жену, страдал в ее многочисленных недугах и женских слабостях, честно громоздил на свои плечи все, что мог, из их общей семейной ноши – на то он и мужчина! – и... произвольно, безотчетно старался пореже думать о ней. Душа человеческая – вечные сумерки, разве углядишь-поймешь все твои движения?

Пономарев, пребывая в прежнем прекрасном расположении духа, набросил ему на голову походное полотенце, рушник с петухами, подарок Николая Мартьянова, и Крылов с удовольствием зарылся лицом в прохладную чистоту простой жесткой ткани. Иногда вещи, как и люди, сами о том не подозревая, способны утешить, успокоить одним лишь прикосновением.

– Вот немецкий естествоиспытатель Либих советует измерять степень культурности народа по количеству потребляемого мыла, – разогнулся и все никак не мог остановиться Иван Петрович, намолчавшись с Габитовым сверх всякой меры. – А я бы, Порфирий Никитич, иначе предложил. Степень культурности общества исчислять в его отношении к прекрасному. К красоте. К предметам искусства.

– Каким же образом исчислять-то? – иронически улыбнулся Крылов. – Градусами? Цифрами? Графиками? Словами? Чем?

– Можно и словами, – упорствовал Иван Петрович. – Слыхивал я, анкеты изобретать стали. Ответил на вопросы – и видно, что ты за индивидуум. Какой степени.

– Так для анкеток-то надо быть хотя бы мало-мальски грамотным, – с грустью срезал воспарившего родственника Крылов. – А народ наш, вы сами знаете... Эх, любезный Иван Петрович, до анкеток мы еще не скоро дорастем... Уж лучше – мылом, как советует господин Либих...

Он досадовал на Пономарева, затеявшего никчемный спор, на самого себя, за то, что спор этот все-таки задел, царапнул душу... Молоточки, исчезнувшие было, вновь появились и принялись выстукивать изнутри череп, словно пара дятлов, исследующих пустоты в стволах деревьев. Магнитом потянула к себе кровать, и он более не стал противиться, сказал Пономареву, что хочет спать, и лег.

Проснулся он поздним утром, когда горячее солнечное пятно переместилось со стены на подушку. Поднес к глазам часы и поразился тому, как долго спал. Сказалась многодневная, длительно сдерживаемая усталость.

Пономарева не было. В комнате было тихо, лишь в коридоре слышалось мерное шорканье веника о ковровую дорожку. В углу номера, за платяным шкафом, оцепенело сохла в дубовом бочонке пожелтевшая пальма. И как это вчера он ее не заметил?

Пошатываясь, Крылов прошлепал босыми ногами в угол, вылил в закаменелую землю полкувшина воды, припасенной Иваном Петровичем. Долго разминал комки вокруг волосатого стволика. Вспомнился Авиценна... «Пальмовая душа, дабы стать пальмовой, не нуждается в растительной или еще какой-нибудь силе, хотя ее действия суть не что иное, как действия растения. Пальмовая душа является растительной именно потому, что она пальмовая...»

Мудрено изъяснялся древний ученый. За то, что признавал за растениями право на душу, ему крепко доставалось от церковников. Хотя если взглянуть сейчас, к примеру, вот на эту замороженную «пальмовую душу», то любому станет очевидно, как томится и тоскует она в неуютном гостиничном номере. Жильцы все временные, им не до пальмы, норвят окурки о ствол задавить. Горничные забывчивы...

Покончив с хлопотами над пальмой, Крылов наконец умылся и сам. Одевался он уже торопливо, чувствуя свою вину перед помощниками, которые сейчас, верно, заняты оформлением груза, поливкой капризных влаголюбивых экзотов.

Так и оказалось. Вышедши из гостиницы, он не обнаружил возле складов ни одной корзины. Все они благополучно переселились на пароход, в грузовой отсек второй палубы.

– Полный порядок! – прокричал из каюты Пономарев, просунув в окошечко встрепанную голову. – Идите к нам!

Двухпалубный пассажирский пароход «Фурор» постепенно заполнялся людьми. В третий класс еще не пускали, и толпа переселенцев, из тех, кто побогаче (билет на этот речной транспорт стоил на полтора рубля дороже против тарифа «Барнаула»), терпеливо дожидалась своего часа.

– Ну как, Порфирий Никитич, ничего каютка? – спросил довольный собственной расторопностью Пономарев.

– Вполне, – согласился Крылов. – Только отчего ж двух-местная?

– А Габитыч в грузовом поедет, подле багажа, – безмятежно ответил Пономарев. – Сам напросился. Там и рогожка сыскалась. И дешевле...

– Нехорошо, – нахмурился Крылов. – Не в том экономию зришь, Иван Петрович. Ну, да не поправить теперь дело, сам вижу. Так что по очереди будем, на рогожке-с... Первым – ты.

Лицо у Пономарева вытянулось, как он сам любил выражаться, по шестую пуговицу, но протестовать Иван Петрович не посмел. Только махнул рукой: дескать, делаешь-стараешься, а взамен благодарности – рогожка...

Прошло более часа. За это время приличная публика – чиновники, дамы, воспитанники духовной семинарии, – запущенная на пароход в первую очередь, и толпа переселенцев, постепенно просочившаяся на судно, имели возможность разместиться согласно своему рангу и положению: в каютах либо на палубах, в грузовых отсеках, в трюме. Пассажирам уж надоело созерцать унылую пристань господ Игнатова и Курбатова, бесплатные переселенческие бараки, гостиницу, контору, склады. Нетерпение охватило всех, как это обычно бывает в последние минуты перед отправлением; оно выражалось в шуме, в криках и возгласах, обращенных к тем, кто оставался на берегу, в усиленной жестикуляции, махании платками, шляпами... Наконец раздались три отвальных гудка, и огромные колеса последнего слова техники, чуда девятнадцатого века медленно, как бы размерзаясь, провернулись. Какое-то время судно не могло отлепиться от пристани, и капитан зычно командовал что-то через переговорные трубы механикам и кочегарам. Но вот берег дрогнул, поплыл в сторону, стал разворачиваться и отдаляться.

Тура, или, как ее называют местные жители, Городищенская река, словно упрямая норовистая лошадка, для фасону пометалась из стороны в сторону и успокоенно легла торной дорогой.

На середине реки потянуло ровным сквозняком, словно бы там, впереди, на севере, растворено было огромное, в полнеба окно.

Пономарев принес суконную накидку, напоминавшую просторный плащ, без рукавов, заставил набросить на плечи и направился было подремать в каюту перед ночлегом на рогожке. Он знал, что теперь Крылов не сойдет вниз до самого вечера, пока не стемнеет, будет следить медленное скольжение берега, рисовать его в дорожном блокноте, беседовать с попутчиками, и самое разумное не мешать ему в этом.

– Иван Петрович, милейший, не в службу, а... Принеси, пожалуйста, из моего сундучка книгу Фонтанеллы. Она сверху, – попросил Крылов, устраиваясь в плетеном кресле с подлокотниками и козырьком над головой.

– Фонтанеллу так Фонтанеллу, – с готовностью согласился Пономарев. – Не все ж одни научные опусы читать, надо ж когда и италианцем развлечься...

Крылов не стал разубеждать добрейшего Ивана Петровича в том, что Фонтанелло не италианец, а француз, и его книга не относится к развлекательной литературе. Он уже давно заметил, сколь велика власть привычки в человеческом мышлении: раз французское – значит, легкомысленное, немецкое же, к примеру, сплошь ученая сухость, а свое, отечественное, русское, и вовсе никуда не годится. Давно ведь сказано: нет пророков в своем отечестве, любая бразилианская свекла – это свекла, а наша, дома выращенная, – бурак-дурак...

Позади высокой штурвальной рубки уютно, сравнительно тихо. Сквозняк разбивается широким надпалубным сооружением и превращается в приятное свежее дыхание реки. Крылов снял фуражку, чтобы подсушить взопревшие волосы, и с наслаждением погрузился в чтение.

Сто шестьдесят восемь лет назад – от нынешнего, 1885-го – опубликовано «Описание путешествия в Левант» (на Восток), а все ж волнует современностью мыслей и взглядов. Вот, к примеру, превосходное место...

«Ботаника не является комнатной наукой, которая может развиваться в покое и тиши кабинетов... Она требует, чтобы бродили по горам, лесам, преодолевали крутые склоны, подвергались опасности на краю пропасти. Степень страстности, которая достаточна для того, чтобы стать ученым другой специальности, недостаточна для того, чтобы стать большим ботаником. И вместе с этой страстью необходимо еще и здоровье, которое позволяло бы предаваться ей, и сила тела, которая соответствовала бы ей...»

Истинно так! Справедливо и точно сказано... Крылов тоже считал, что кабинетным сидением следует заниматься только после того, как собран и накоплен значительный материал. Сам он путешествий, экспедиций не боялся. Наоборот, каждая клеточка, каждый мускул его крепкого, выносливо построенного тела требовали движения, нагрузки, испытания... Оно, это тело, физически тосковало о лете, красной поре ботаников.

«Но это еще не значит, что ты – настоящий ботаник, – остановил самого себя Крылов. – Тебе еще предстоит им сделаться... Можно всю жизнь блуждать Агасфером по земле и не иметь от этого пользы ни себе, ни обществу. Необходима цель».

О цели своих научных устремлений Крылов думал часто. Сначала она была маленькой, точечной: научиться различать растения одно от другого, запоминать по именам то, что произрастает в лесах и лугах... Затем цель отодвинулась и – вопреки законам пространства – не уменьшилась, а возросла. Мало знать по именам растительный мир. Проникнуть внутрь его, понять сокровенные преобразования, постигнуть суть загадочных явлений в природе, ее сакральный смысл, – вот цель грандиозная, перспектива не для одной человеческой жизни!

Приземистые берега, поросшие невысоким хвойником, березками да кустарником, уходили вдаль узким извилистым коридором. Подгоняемый течением, пароход двигался ходко, бодро перемолочивая желтоватую речную гладь. Вот попало живописное однорядное селение. Выстроившиеся вдоль реки дома – фасадом к воде – принаряжены деревянной резьбой, раскрашены белой и синей краской. Деревня смотрелась весело, празднично; словно специально подошла к глинистому обрывчику поглядеть на проходящие суда и плоты, проводить в долгий путь. И снова плавное кружение деревьев на берегу, мерный шум водяных колес, голубое небо, побеленное перышками облаков. Привольно. Хорошо.

– Барин... отец родимый... – из-за судовой переборки робко выдвинулся сначала клочок седой бороды, затем руки, мявшие старую солдатскую бескозырку. – Не прогневайся...

– Что? Что такое? – сердясь на невнятно гундосившего старика, который перебил расслабленное приятное расположение духа, отрывисто спросил Крылов. – Да не прячьтесь вы, бога ради! Ступайте сюда.

Мужик приблизился, сторбленный, приниженный, лицо перекошено горем. Рухнул на колени.

– Спаси, барин! Помирает... – только и разобрать было в его словах, заглушаемых сдавленным рыданием.

Крылов встал, рывком поднял старика с колен.

– Да говори, в чем дело? Господи, что за народ...

– Дочка помирает, барин... Люди сказывали, вы дохтур...

– Да какой я дохтур?!

Крылов в досаде потер лоб; сколько раз уж так бывало: бегут, «дохтур, дохтур», – а он ни пользоваться, ни прописывать лекарства не имеет права! Как это им объяснишь?

– Что, на пароходе нет врача? – спросил Крылов и сам понял: глупо спросил. Конечно, нет. Разве что среди пассажиров, случайно. – Среди пассажиров искали?

– Искали, батюшка, – закивал старик. – Капитан вашу милость указал.

– Пошли.

Книга де Фонтанелло, ученого и путешественника, позабыто осталась лежать в плетеном кресле.

В помещении третьего класса душно, переполнено людьми, багажом. И – на удивление тихо. Только в дальнем углу раздавался слабый плач охрипшего младенца.

Старик подвел к девушке, навзничь лежавшей поверх узлов и свернутых армяков. Она была без сознания, горела. Губы запеклись, на щеках малиновые пятна. Дыхание прерывистое, затрудненное.

– Когда заболела?

– Четвертого дня, – виновато поник головой отец. – Квасу холодного кабыть попила...

Крылов только головой качнул: кабыть... В Тюмени можно было сыскать врача. Да и в переселенческих бараках имелась какая-никакая медицинская служба. Нет, не обратился к ним старик. Еще чего доброго спрятал больную, никому не показывал, боялся, на пароход не допустят, на берегу оставят. Теперь плачет. Вопросы либо упреки бесполезны. И на пароходе, как на грех, единственный дохтур именно он, Крылов...

Однако ж поздно теперь слова произносить, воздух сотрясать. Надобно что-то делать.

– Ты вот что, – сказал Крылов старику. – Устрой больную получше. К дверям поближе перемести, к воздуху. Да армяки распрями. Что она у тебя на узлах лежит? Тяжело ведь и неловко. А я вернусь...

Он направился к выходу, прикидывая в уме, что можно предпринять: без медицинских приборов, без специальных знаний... Видимо, одно – вновь, как и много раз до этого, обратиться к своей зеленой аптеке.

Пономарев самозабвенно посапывал и посвистывал во сне. Габитов отсутствовал. Полотняный узелок на дне сундука с некоторым запасом лекарственных трав источал слабый санный дух. Так... Что мы имеем?

Душица. Ее, скорее, в чай... Листья мать-и-мачехи. Аконит. Шиповник. Полынь... Знаменитая Артэмизия, что значит по-латыни «здоровая». Самое горькое растение в мире; горечь сохраняется при разведении 1: 10 000. Античные авторы приписывали полыни разнообразные действия. Плиний утверждал, что привязанная к ноге полынь избавляет человека от усталости. Лоницерус советовал добавлять полынь в пищу. Римляне соком полыни награждали победителя квадриги. Авиценна указывал на противолихорадочные и желчегонные свойства. На Руси ее ценили как ранозаживляющее, восстанавливающее зрение, очищающее средство. В Сибири встречаются несколько десятков видов полыни – это отмечали многие путешественники. В сундучке Крылова оказалась полынь горькая. Ну что ж, недурно. Пойдем далее.

Корешки одуванчика. Выкопаны еще в Казани, так, на всякий случай. Травознай-татарин уж больно хвалил их: будто жар снимают, чудо делают...

В чудеса Крылов не верил. И попробовать на себе воздействие одуванчиковых корешков еще не приходилось.

Что же он про это растеньице знает? Ну, память, восковая табличка, выручай! Не ты ли давеча хвалилась, будто бы все, что касается растений, впечатываешь прочно?

Одуванчик – молочник, пуховка, дикий цикорий, попово гуменце, пустодей, ветродуйка, сдуван... Мохнатый рудо-желтый цветок с пушистыми семенами. Сорный многолетник. Млечным соком лечат мозоли и бородавки. И только-то? Не густо.

Крылов сложил вместе жаропонижающие травы и корешки, смешал в небольших пропорциях, всыпал в чайник и отправился на поиски крутого кипятка.

...Влажная, медно-красная тяжелая коса лежала на руке Крылова, поддерживающего голову девушки. Старик в это время разжимал дочери зубы и малыми толиками вливал настой, приготовленный «дохтуром». А он только сейчас потрясенно заметил, что девушка необычайно красива. Редкостный цвет волос: их в народе называют «красные», «бесовы косы»; нежная белая кожа, чуть вздернутый изящный нос... Странная благородная красота, обряженная в бедные грубые одежды...

Вполвнимания Крылов слушал невнятный, придавленный голос крестьянина, с обреченным спокойствием повествующего о своей судьбе...

Старик был родом с Волги, из бывших крепостных помещика Полубаринова. Пахал, сеял, плотничал, ухаживал за пчелами. Женился поздно, в сорок лет. Жену взял из дворовых. Сначала ничего, мирно жили. Он – в поле да в лесу, она – в покоях помещичьих, в услужении. Баба видная из себя, рослая. Зажмет, бывало, мужнюю голову под мышкой, хохочет: счас, говорит, оторву башку твою садовую и скажу, так и было! Ну, ладно. День в день – топор в пень... Родилась дочка. Беленькая да румянькая. Тихая да улыбочивая. Душа пела в первые месяцы, радость играла. Простил жене и службу ее в полубариновских хоромы, и шутки, будто с острия ножа слетавшие. Дите всю накипь с души сняло, слабой ручонкой тугой узел развязало.

А потом пошло-поехало. На глазах прямо начали чернеть волосенки девочки. Из янтарного меда в черную смоль переплавляться. Взялся отец за голову – полубариновскую масть заподозрил.

В общем, хватил мужик патоки шилом, сладко захватил, да горько слизнул. Что делать? Ну, как водится, перво-наперво прибил жену. Пошел затем к помещику. За голенище нож сунул, на всякий случай. Полубаринов был трусоват, без меры за собственную жизнь пуглив. Тощий, как хвост, он и задрожал, завертел, завилал, как собака обрубьшем, едва только рукоять ножа за голенищем узрел. Долговые расписки порвал, денег дал, – только уходи.

Мужику того и надо. Давно мечтал своим хозяйством зажить, дело завести. Взял жену с черноволосым ангелочком – и вниз по Волге подался. Приискал угожее место, купил перевоз.

Снова зажили мирно, тихо. Он – с рассвета до темноты на пароме либо ж на рыбалке. Она – пятаки с проезжающих собирает, обедом кормит. Дите растёт, папкой кличет. И тут случилось то самое, непоправимое, видать, на роду написанное.

Подъехала как-то карета, и вышел из нее Полубаринов. В дом направился, перевозчика зовет. А перевозчик-то, словно жгутом перехваченный, застыл: ни рук, ни ног. Затаился в овечьем кутке, решил дознание провести: как-де встретились бывшие знакомцы? Сидел-сидел – ничего не слышать. К окошку подкрался, заглянул: не котуют ли?

То, что увидел, в самое сердце сразило.

В чистой горенке, в парадном углу, под иконами, сидел на лавке хвощ-Полубаринов и держал на коленях девочку. И гладил костлявой рукой по черным косицам. Напротив стояла жена, скрестив на груди белые руки, смотрела на них и... чему-то улыбалась.

Взыграла в душе мужика ненависть. Хотел было тут же дверь дрекольем подпереть и запалить избу... Одумался. В дом вошел, с колен Полубаринова девочку снял и вежливо так, спокойно доложил, что отправляться-де на тот берег можно, только не на пароме. Неисправен, дескать. Можно в лодке переехать, а мужики-паромщики вскорости наладят все и карету пригонят.

Неизвестно отчего, Полубаринов на такой глупый ход согласился. То ли действительно торопился, то ли перечить не захотел.

– И я с вами, – встрепенулась жена. – Мне в лавку надоть!

Ну, что ж, в лавку, так в лавку. Вчерашнего дни предлагал съездить, не захотела, а нынче покупки понадобились? Да уж ладно. Поехали.

На середине реки место было такое, воронкой воду мутило. Знал перевозчик о нем, не один раз обходил стороной. А тут взял да и направил плоскодонку в самые жернова...

Как выплыл сам – в памяти на осталось. Паромщики сказывали: река выкинула, будто выплюнула, сначала одно человеческое тело, потом другое. Долго отваживались с утопленниками, на грудь, на живот давили, чтобы вода вышла. Первым одыбался Полубаринов, задышал. Первозчик ожил следом за ним.

Ну, конечно, дознание, то да се... Мужики подтвердили: воронка виновата, пожалуй-де и перевозчика надо – сам чуть не утоп, жену, справную бабу, потерял. Оправдали.

И стал он опять жить. Перевоз продал, в город Кинешму перебрался. Подряжался дома рубить, печи класть. И тут начал примечать нечто странное. Постепенно, день за днем стали вновь светлеть у девочки ее толстые, необыкновенной густоты волосы. Словно разгорался внутри них невиданный пожар, и цвет воронова крыла сменился красной медью. В его роду у бабки-покойницы точь такое чудо было!

И взяла тоска за сердце: за что жену погубил?! Отчего словам-клятвам ее не поверил, на свое подозрение положился? Все немило стало, все наперекосьяк пошло, сноровка в делах пропала. Навалились вдруг болезни – тиф, падучая... Не успел оглянуться, как очутился беспомощным бременем на руках подросшей дочери.

– Кабы не случай, оба помёрли бы с голоду, – в этом месте старик оживился, словно вспомнил о небывалом фарте, и даже подмигнул Крылову.

– Какой случай?

– А купец в наших краях объявился. Бога-теюший челвоек!

Мы с ём и по рукам... задаток хороший дал. На дорогу отдельно. Велел к осени прибыть в Томск. Вот так, барин. О чем думает река? О воде. А живой человек о жизни своей должен думать. Как лучше и теплей в ей завернуться. И на вот-ка, заболела дочка...

– Так ты что – дочь свою продал?! – ужаснулся Крылов, до которого только и начал доходить смысл слов старика.

– Што поделаешь, добрый барин...

– Изверг ты, а не отец! – Крылов резко встал и стукнулся головой о переборку. – Поди, более всего жалеешь, что деньги продадут, коли товар не довезешь? Так? Говори!

Старик опустил голову.

– Не гневайся, барин, – промямлил. – Спаси... Уж мы в долгу не останемся, – зашарил у себя за пазухой в поисках узелка с деньгами.

Крылов оттолкнул его руку и пошел к выходу.

На середине пути остановился: показалось вдруг странным, что младенец, долго и безутешно кричавший, замолчал.

Перешагивая через узлы и ноги сидевших и лежавших людей, Крылов двинулся в дальний угол. Мирная картина, открывшаяся его взгляду, чуточку утешила: мать и ребенок спали.

На палубе Крылову стало немного лучше. Наступил вечер, на реке зажглись редкие бакены и сама палуба тускло осветилась керосиновыми фонарями. Любопытная вещь – время. То бежит, словно рысак доброй породы, то ползет, как улитка, а то и вовсе – каменеет...

Книга, лежавшая в кресле, отсырела, потяжелела. Крылов поднял ее. Нет, теперь не уснуть, не отдаться чтению. Проклятый старик... А может, Богом проклято само время, в котором совершаются такие поступки? Нет, мистика! При чем здесь время? Люди, сами люди – вот причина всех гнусностей и мерзостей, которые творятся в рамках того или иного времени... Как изменить людей?

Покружившись по безлюдной палубе, он бесцельно двинулся вниз по узким и темным переходам – и неожиданно попал в грузовое отделение. С низким потолком, но довольно просторное помещение освещалось «летучей мышью». Вдоль одной стены располагался ряд каких-то ящичков. Вдоль другой – корзины с растениями. И снова, как бывало не раз, особый запах земли и растений успокаивающе подействовал на Крылова.

А вот и Габитов. Поджав ноги, он сидел на рогожке между корзинами и дулся в карты с цыганистым парнем.

– Хрести-kozyри! Аг-га? – вскинул было выше лохматой головы руку с замасленным кусочком картона, но, распознав хозяина, встал и, словно захваченный на месте преступления ученик, спрятал за спину карты.

– Играйте, – рассеянно махнул рукой Крылов. – Только пароход не сожгите.

– Точно, – хихикнул компаньон Габитова. – Особливо, ежели с моих ящичков начать. Во полыхнет горячая смесь!

– Так-таки и горячая?

– Хуже, барин. Книги! А к им только факел поднести – старые да сухие.

– Книги? – удивился Крылов; сравнение с горячей смесью ему показалось удачным. – Откуда?

– Каки из Москвы, каки из Петербурга, – ответил равнодушно парень. – Велено доставить – мы с приказчиком и везем. Да там на ящиках написано! – и подтолкнул Габитова. – Ты што, паря, заснул? Не слышь, барин велит играть.

Книги... Вот, оказывается, какие славные попутчики добираются с ним вместе до Томска! Так... Что же здесь написано? «Томск. Его превосходительству попечителю Западно-Сибирского учебного округа господину В.М. Флоринскому. В библиотеку университета».

Со скрытой нежностью Крылов провел рукой по шершавым дощечкам, как бы здороваясь с попутчиками. Устыдился своего жеста. Подергал смущенно бороду. И провожаемый взглядами игроков, вернулся наверх.

До сего момента Крылов как-то не думал особенно об университете, где ему предстояло работать. То ли некогда было, то ли до конца не осознал всей глубины произошедших в его жизни изменений...

По временам ему казалось, что совершает он обычную свою экспедицию, из числа тех одиннадцати, которые успел произвести в Перми и Казани. Что пройдет лето, и он вновь вер-

нется в уютный Ботанический музей, где все отлажено, устоялось, хранит в себе признаки солидного научного учреждения; и как всегда, осенью, соберутся они втроем – Коржинский, Мартьянов и он – и станут рассказывать о летней ботанической страде.

Впервые о Томском университете он подумал как о чем-то неизбежном, бесповоротном здесь, на пароходе. Что ждет его впереди? Какие люди? Какая жизнь?

Неизвестность не только манила, но и пугала.

Досадуя на свое душевное состояние, на возникшие вдруг неведомое откуда раздражение и тревогу, Крылов стоял на палубе, смотрел на воду, в темноте похожую на маслянистую нефть.

Где-то в этих местах ровно тридцать лет назад, в 1855 году, вот так же шел из Тобольска пароход «Ермак»... Гордость сибирского рекоходства, стосильный красавец, выписанный из Бельгии, он чувствовал себя полноправным хозяином здешних северных вод. Ему покорно уступали дорогу неповоротливые завозни с высоко нашитыми из досок бортами, грузовые илимки, приметные своей тупо срезанной кормой, многочисленные плоскодонки с парусами и без, устойчивые ангарки и прочие сибирские суденышки, столетиями бороздившие студеные воды таежных рек. Казалось, «Ермаку» сносу не будет. Да и в самом деле, что может случиться с эдакой силищей, воплощением последних достижений науки и техники? Ан случилось. Оплошал неопытный помощник капитана: «Ермак» сам себе пробил якорем бок – и утонул. Год только и покрасовался. Фортуна? Случайность?

В судьбе «Ермака» Крылову чудилось что-то человеческое.

Он вглядывался в плотную черноту сырой беззвездной ночи, в близкий, но совершенно невидимый берег, словно искал в них ответа. И не встречал нигде ни огонька, ни светлой точки – на всем пространстве.

О чем думает река? Кто разберет...

## «Град камен Тоболеск»

Эту ночь Крылов провел дурно, почти без сна. Мерещилось бог знает что – пусторотый старик-леля с шашкой наголо, разбойничий протяжный свист, погоня, и он, Крылов, убегающий от преследователей на каких-то ватных непослушных ногах... Беспокоило виртуозное, на удивление разнообразное а-каприччио пономаревского храпа, то басовитое, по-шмелиному низкое, то взвывающееся до фальцета. Тяготила духота нагретой за день судовой коробки. Досаждала редкая, но чрезвычайная настойчивая комариная зуда. Женски коварная богиня сновидений Бризо то дарила неглубоким забытьем, то отнимала ла его.

Утру он обрадовался, как спасению. Поспешно оделся, умылся и пошел навестить больную.

Девушке стало лучше; отвар одуванчиков явно помогал. Поутих жар, она дышала ровнее и глубже. Позволила осмотреть горло – красное, рыхлое... Заушные впадины опухли. Словно тесто на дрожжах, начало перекашиваться лицо.

И тогда пришла догадка: девушку поразило детское заболевание, воспаление лимфы, или, попросту говоря, свинка. Крылов знал, что болезнь эта, сравнительно легко переносимая в юном возрасте, чрезвычайно опасна для взрослых. И все-таки ему стало легче. Он теперь был уверен в том, что делал все правильно и не повредил больной. Нарушение главной заповеди врача-лечащего – не повреди! – представлялось самым страшным из всего, что могло выпасть ему, поневоле взявшемуся не за свое дело.

– Поправится твоя дочь, – сказал он старику. – Выбухнут шишки – и горячка спадет. Само все пройдет. Только питье продолжай давать.

– Спаси тебя господи! – истово перекрестился старик. – Век буду за тебя, барин, Бога молить! – и хотел было поймать за руку, чтобы приложиться.

– Не надо за меня молиться, – отвел за спину руки Крылов. – Лучше скажи, большой ли задаток от купца получил?

– И-и, какой там! – расстроено махнул рукой мужик. – Семь рублей. Остальное обещал потом, на месте.

– Семь рублей, – горько повторил Крылов. – Я дам тебе семь рублей. И немного еще, на первое время... Ежели ты вернешь купцу его задаток.

– Вот те крест, барин, верну! – залопотал старик радостно. – Нешто я супостат? У самого душа, как от бычьей крови, почернела... Охота ль свое-то дитятко... купцу-толстосуму...

– Ладно, ладно... «Дитятко»... Полно каяться-то, я ведь не поп! Лучше выполни, как сказал.

– Выполню, благодетель ты наш, – старик всхлипнул.

– К купцу не ходи. Почтой деньги отправь. Квитанцию возьми, мало ли что... А сами на работу нанимайтесь. Прокормитесь, не вы одни трудом собственным живете, – Крылов с хрустом повел затекшими плечами. – Пойду на воздух. Да и ты отдохни... коммерсант. Скоро Тоболеск, вот вместе на почту и сойдем.

Ладийный город, «град камен Тоболеск», появился неожиданно, в ярких солнечных лучах – словно с картины передвижников сошел: реальный, зримый, обрисованный сочной и звонкой кистью. В обрамлении густых лесов, на высоких холмах, возникли белокаменные стены и сторожевые башни Тобольского кремля, заиграли бликами купола Софийского собора. Со стороны реки, на знаменательном пересечении Тобола и Иртыша-землероя, город был чудо как хорош...

Триста лет, без двух годков, стоит он на этом месте, по соседству с бывшей ставкой сибирского ханства Кашлык. «город многолетних трав с розоватыми, желтоватыми и беловатыми цветами» – символ великих деяний русского народа... Тобол – по-башкирски означает таволга,

белая трава. Удивительно приятно знать, что скромное сибирское растение дало название и реке, и городу.

Вот и Чукманов мыс со знаменитым белым памятником Ермаку. Издали брюлловское творение не гляделось монументальным, походило скорее на прозрачную свечу, нежели на каменную пирамиду. А все же душа дрогнула при взгляде на эту свечу, осветившую давний уголок российской истории.

Крылов засобирался на берег. Сложил в карман куртки деньги, документы.

«русские первопоселенцы, всельники, как иногда их еще называли, нашли действительно превосходное место для города, – размышлял он. – Разломавши свои корабли, поставили крепость из отличного судового ладийного леса... Куда как более разумно, нежели у римлян: «сжечь свои корабли»! Отчего ж в поговорку не вошло? Отчего ходячим словом не сделалось, из живой памяти-языка выпало? А ведь недурно звучит: «Ставь город из своих кораблей»... Или еще как-нибудь...»

«Дай тебе волю, ты и историю древних подправил бы, – подтрунивая над собой, подумал Крылов. – Бедного Ивана Петровича авилируешь, пристыжаешь за воспарения умственные, а сам эк куда упрыгнул!»

Пароход в Тобольске должен был стоять долго, здесь надлежало ему пополниться дровами, сдать и получить почтовые и прочие грузы, принять пассажиров. Крылов решил, что успеет управиться со всем, что замыслил: на почту сходить и город поглядеть.

Спустившись вниз, на первую палубу, Крылов с удивлением обнаружил, что она вся запружена людьми, нетерпеливо ожидавшими, когда подадут ступенчатые сходни. Оказывается, желание побывать на историческом берегу возникло не только у Крылова.

– Пойдемте в музей, господа! – довольно громким, уверенным голосом приглашал своих товарищей молоденький прапорщик с нежным рыжеватым пухом вместо усов. – Там, говорят, хранится локон дочери Меншикова!

– Недурно, прапорщик, – снисходительно похлопал юношу по плечу штабс-капитан с нетрезвыми и оттого пустыми глазами. – В музей – и к-копченой стерляди! Ха-а-шо?

Наконец сходни были установлены, и вся масса народу как-то сразу качнулась вперед, сжалась, и долгое время из ее сбившихся рядов на трап не мог выдаться никто.

Выйдя на дощатую пристань, заполненную бойким торговым людом (стерляди копченой в Тобольске действительно было много, почти у каждого торговца), Крылов подозвал пролетку, и они со стариком опустились в кожаную «бестужевку», удобную легкую повозку, которую сибиряки давно уже именовали по-своему сидейкой.

Низкорослый каурка взял с места дробненькой рысцой и, не убавляя темпа, без запала, пошел в гору. Приречная часть города, застроенная одноэтажными деревянными домами, осталась позади.

Старик сидел в пролетке, не шелохнувшись, прямо, важно, и до самой почты не проронил ни слова. И только когда пришла пора вылезать, с крестьянской жадностью оглядел каурку, словно желал бы украсть лошадь, и сказал, адресуясь к вознице:

– Осанистая скотинка, ничаво! Без осанки лошадь все равно, что корова.

– Оно так-то, – неопределенно ответил возница, уклончиво раздвинул мясистые губы в полуулыбке, не спеша запрягал полученный двугривенный в бездонный карман азяма и легонько, с некоторым форсом, тронул каурога.

На почте обошлось все быстро. Квитанцию о пересылке семи рублей их хозяину старик бережно завернул в тряпицу, спрятал за пазуху и – прослезился. Похоже, он только сейчас начал понимать, что незнакомый барин не шутит, что теперь его жизнь и судьба дочери как-то изменились: к худшему, к лучшему ли, но изменились. Слезы были искренние, не показные.

Крылов вывел его на улицу и, думая, что старику сейчас лучше заняться чем-нибудь, велел:

– Ты вот что, любезный, ступай сейчас в лавку, купи для больной молока, ну и еще что... Ей пить надобно побольше. Встретится в бутылках лимонад-газес, не скупись, побалуй дочку. Это вода такая, шипучая. Ничего, полезная... А для меня, попрошу, поищи у местных торговков лукошко малины. Да в каюту снеси, там есть кому принять.

– Барин, да я... С-под земли достану! Усех обойду! – старик поклонился в пояс, зажал в кулаке бумажный рубль и заспешил по дороге, загребая пыль старыми сапогами.

Ну, вот и ладно. Крылов вздохнул, погладил в задумчивости бородку. Легко совершать доброе дело, когда есть деньги... А ну как их нет? Стало быть, вся доброта на капитале зиждется? Нет, тут что-то не так. И на капитале, естественно, и на слове добром, на добром действии, на благородных помыслах... Он запутался и даже рукой досадливо взмахнул: не силен ты, Порфирий, в философиях, так уж и не тщись... Твой удел не любомудрствовать, а работать! Он даже кулаки сжал произвольно – так захотелось ему сей же час окунуться в свою работу, в привычный ботанический мир, уйти в строгую обитель научных фактов, отрешиться ото всего...

Но до этого желанного мига было еще далеко. Сейчас перед ним лежал древний Тоболеск, Тобольск. Когда еще судьба занесет на его почтенные улицы! Стало быть, не теряя драгоценного времени, следует поглядеть на них поближе.

Он поправил фуражку, ребром ладони привычно проверил, по центру ли, не сдвинулся ли, придавая легкомысленный вид, лакированный козырек? Отер платком лицо и зашагал к кремлю.

Что он знал о Тобольске? Наверное, не более, чем любой просвещенный человек его возраста, его времени, не числивший себя ни историком, ни географом в строгом смысле этих понятий. В Казани о Тобольске упоминали частенько как о первом главном городе Сибири, который, однако, спел свою лебединую песню. Доводилось читать ему и книгу Петра Андреевича Словцова – «Прогулки вокруг Тобольска в 1830 году». «Небольшой свой сноп хочу украдкой положить в большую скирду сведений о Сибири», – скромно писал автор, растапливая душу читателя жаром преданности холодному краю.

Чьи имена могли подсказать, навеять эти улочки, поросшие крапивой и лебедой? Город хирел, экономически отторгнутый от больших путей, приходил в запустение; могло ли это не сказаться на его памяти... Его ли упрекать в том, что никакого упоминания о дорогом для Крылова имени здесь не встретилось? Он имел в виду Дмитрия Ивановича Менделеева, великого химика современности, родившегося в Тобольске. Впрочем, о чем это он?.. О каких памятных знаках вопрошает? И кого? Наивно. Труды ученого – вот его единственная надежда на память.

Сказывали, здесь же «тобольский Россини», ссыльный музыкант Алябьев написал «Прощание с соловьем на севере»... Слушая ее на званом вечере у одного их казанских профессоров, Крылов растрогался и долго не мог забыть об этой удивительно чистой мелодии. Может быть, город хранит память об этом музыканте?

Каменный Тобольск не спеша выступал навстречу, являя узоры деревянных кокошников, белые стены церквей, тишину и яркую зелень церковных оград. Крылов долго стоял, задрал голову, смотрел на купола Софии белокаменной. Что ни говори, а храм – это всегда главное украшение в архитектуре, центр всего ансамбля. Об этом хорошо знали зодчие в предбывшие времена...

А вот и знаменитый угличский колокол – Карноухий! Девятнадцатипудовый молчальник. За то, что не предотвратил гибель малолетнего царевича Дмитрия, не возвестил о беде, по приказу Бориса Годунова колокол был наказан плетьюми, с него срезали одну петлю-«ухо» и сослали в Тобольск.

«Как похожи цари, – подумал Крылов. – Борис Годунов повелел бить плетью «Карноухого», а персидский царь Ксеркс приказал сечь море бичами во время своего неудачного похода на Грецию. А Кир и вовсе уничтожил реку Диалу, прорыв от нее каналы в пустыню. За то, что в ней утонул его любимый конь...»

Крылов обошел рентереи, шведские палаты. Вот еще одна мета истории – пленные шведы. А ведь именно они открыли здесь первую за Уралом школу, способствовали просвещению края...

Он шел дальше. Кремль закончился, начались деревянные постройки, дома, обшитые плахами, серые, покосившиеся... Куда он идет, что ищет?

Медленно движется время, —  
Веруй, надейся и жди...  
Зрей, наше юное племя!  
Путь твой широк впереди.  
Молнии нас осветили,  
Мы на распутье стоим...  
Мертвые в мире почили,  
Дело настало живым.

Эти стихи малоизвестного поэта Ивана Никитина он не запоминал специально. Вообще к поэзии относился сдержанно, без особого пыла. Только раз и услышал где-то. Но однажды на студенческой вечеринке кто-то запел их, на мелодию вальса. А через некоторое время обнаружилось, что эти стихи стали любимой песней казанских студентов.

Сеялось семя веками, —  
Корни в земле глубоко;  
Срубись леса топорами, —  
Зло вырывать нелегко;  
Нам его в детстве привили,  
Деды сроднились с ним...  
Мертвые в мире почили,  
Дело настало живым.

Память, память... Ее выпалывают, притаптывают, она же, словно трава-камнеломка, даже сквозь скалу, через горную смолу асфальтос пробивается.

– Послушай-ка, любезный, а кладбище-то городское где у вас расположено? – спросил Крылов у какого-то мужичка, угревшегося на скамеечке возле дома.

– А недалече, – неопределенно махнул тот искривленной увечной рукой, недоумевая, как можно не знать, где находится Завальное кладбище.

– Кто ж там похоронен? – задал еще вопрос Крылов, желая вызвать на разговор тоболяка.

– Всякий, – ответил тот и снова умолк.

– Ну, спасибо. Значит, прямо идти?

– Прямо, прямо, – подтвердил мужик. – Там ишшо деревья будут. Вот за имя.

Крылов пошел в указанном направлении, не особенно полагаясь на точность маршрута. Но вскоре убедился, что тоболяк не обманул: под горкой явились и деревья, а за ними погост.

Тихо-то как... Вот и могилы тех, о ком хотелось бы в первую очередь знать здесь. Тяжелые плиты с именами усопших декабристов – Кюхельбекера, Барятинского, Александра Муравьева, Вольфа, Краснокутского, Башмакова, Семенова. Шумят листвой березы, молчалив старый вяз, изъеденный трещинами. Асфальтос времени плотно лежит на полувековом прошлом.

Как горячо спорили и спорят о них студенческие поколения! Молодежь, которую до сих пор продувает сквознячком с Сенатской площади, волнует трагический облик декабристов, их историческое стояние против царских палат, сибирское заточение...

Крылова же более всего восхищало иное – научная и просветительская деятельность этих людей. Он считал их прежде всего учеными. В этом душой с ними роднился.

Он прочел все, что можно было отыскать об этой стороне жизни декабристов, изредка, под чужими именами публиковавших свои научные статьи и наблюдения. Дворяне, аристократы, они увлеченно занимались огородничеством, цветоводством, садоводством. Вольф успешно ботанизировал, собирал образцы минералов. Шаховский с Якушкиным были отличными специалистами в ботанике, географии, метеорологии... Декабристы организовали в Чите в Петровском заводе первый вольный сибирский университет, где шли серьезные занятия по математике, истории, языкам, литературе. Правда, это столь необычное учебное заведение скоро запретили. Декабристы ратовали за открытие сибирского университета, который спустя полвека начинает сейчас свою жизнь в Томске...

«Сибирь необычайно роднит с собою», – в один голос писали узники Ледяной страны, испытывая к этой земле не слепую ненависть, а любовь. Удивительное время и удивительные люди. Они были из тех, кто не стонал, не жаловался, а налегал на весла.

А какими они являли себя педагогами и воспитателями! Крылов вспомнил о Михаиле Андреевиче Зензинове (о нем рассказывал ему Николай Мартьянов). Зензинов умер в Нерчинске в 1873 году. Этого человека в ботаническом мире знали многие. Малограмотный купец, он достиг высот просвещенности с помощью декабристов. Он был их учеником – и это оставило след на всю его жизнь. Зензинов прекрасно знал забайкальскую Сибирь, увлекался ботаникой, медициной. Переписывался со многими российскими и зарубежными естествоиспытателями, посылал им семена даурской флоры. У себя в Нерчинске Зензинов создавал ботаническое заведение, в котором росли дыни, арбузы и... ананасы. И что самое любопытное, помогал декабристу Завалишину выращивать ананасы в Чите! Дал бы господь несколько жизней – Зензинов всю Сибирь покрыл бы ананасниками! Так верил он в могущество человеческих рук...

Крылов долго сидел на верхней скамеечке недалеко от последнего приюта невольных сибиряков, аристократов, чья судьба вошла в самое сердце русского народа.

Работать, работать, работать... Уж коли они, с кандалами, были великими тружениками, ему – с вольными-то руками! – сам Бог велел служить Отчизне втройне...

Стыд, кто бессмысленно тужит,  
Листья зашепчут – он нем.  
Слава, кто истине служит,  
Истине жертвует всем!  
Поздно глаза мы открыли,  
Дружно на труд поспешим...  
Мертвые в мире почили,  
Дело настало живым.

Странное дело – песня звучала в нем так отчетливо, явственно, будто кто-то другой, посторонний, талантливый и молодой, пел вместо него.

Рыхлая почва готова,  
Сейте, куда весна:  
Доброго дела и слова  
Не пропадут семена.  
Где мы и как их добыли —

Внукам отчет отдадим.  
Мертвые в мире почили,  
Дело настало живым.

Он так и пошел с Завального – взволнованный, ощущая ритмичное вздымание в душе стихотворных волн.

И – едва не споткнулся о стеклянные глаза городского.

С подозрительностью и вниманием, достойными лучшего применения, тобольский страж порядка оглядел незнакомца и потребовал паспорт.

Настроение Крылова померкло. Песня перестала звучать.

Он бы так и простился с древним сибирским городом в дурном расположении духа, если бы не набрел случайно на великолепную кедровую рощу. Настоящий кедро-сад. Восемнадцатилетние прямоствольные подростки уверенно вскинули выше человеческого роста хорошо охвоенные вершины, похожие на зеленые булавы. В них уже угадывалась богатырская стать будущих лесных исполинов, красота такая, «что не можно глаз отвесть».

Тобольск одарил ботаника Крылова еще одним открытием, над которым ему предстояло на досуге хорошенько поразмыслить. В той же кедровой роще он встретил сосну... с кедровой ветвью. Не поверил своим глазам: кедровые шишки на обыкновенной сосне! Ветвь шла из рассеченного сука. Возможно, в эту расселину и попал кедровый орех: белка ли обронила, или тонкоклювая птичка-ореховка сунула... А что если это человек талантливо догадался соединить сосну и кедр?!

Пленительная тайна возникла вдруг перед Крыловым, и ему захотелось проникнуть в нее. «Вот прибудем на место, все устроится, – и тогда...» – подумал он. Его давно тянуло заняться опытами по скрещиванию растений. Порой желание было таким сильным, что он искренне сожалел о том, что решил стать флористом широкого круга, а не садоводом-естествоиспытателем. Своими руками сотворить чудо рождения нового сорта, вывести плод, не виданный доселе на земле, – это было бы прекрасно!

Но... Крылов вспоминал о тех белых пятнах на карте растительности, о том, что сотни, тысячи видов, уже в природе имеющих, никому не известны, а потому не приносят людям пользы, – и решение стать систематиком представилось ему единственно правильным.

Без фундамента сооружения не построить. Без накопления и систематизации знаний не бывает науки. Крылов чувствовал, что судьба его как раз и состоит в том, чтобы трудиться над фундаментом, лишь в мечтах своих предвидя прекрасное и стройное здание законченным.

## В Томске

Четвертые сутки почти без остановок – рейс был срочный, а не по усмотрению – двигался по Оби пароход «Фурор».

Беспредельность мутной желтой воды, далеко раздвинутые берега «русской Амазонки», отсутствие признаков человеческого жилья создавали впечатляющую картину. Казалось, ей не будет конца, и это ощущение пространства, поглощающего все и вся, вызывало чувство отрешенности ото всего мира. Не верилось, что где-то есть города, шумная жизнь, тихие речушки и ручейки. Мощный облик сильной сибирячки, разлившейся во все стороны, вытеснил все иные представления и пейзажи.

Иногда на отдаленном берегу, как во сне, возникала безымянная деревня-починок. Один-два, от силы пять домов, так и не ставшие настоящей деревней. Кому придет охота селиться в эдакой пустынности? Еще реже встречался чум, покрытый березовой корой, бедное жилище сибирского инородца. Всюду виднелись следы большой воды: затопленные низины, островки осин, несмотря на свою долговязость, почти по пояс погруженных в воду, размытый, обсыпавшийся противоположный берег.

Где-то в сумерках взгляду пассажиров, подавленных прозаическим однообразием пути, предстало видение – белая церковь на островке, едва ли не посередине реки. Обские волны переливались в разбитые узкие оконца, точили стены, били в углы. Течением принесло сюда обломки досок, щепу, коряги и прочий речной мусор. Было непонятно, как и для чего возник на этом месте божий храм, кем брошен и что с ним станет позже...

Пассажиры долго оглядывались на затопленную церквушку. В эти минуты на обеих палубах было по-особому тихо.

И только зрелище каравана плотов, сплавлявшихся вниз по течению, отвлекло внимание от грустного зрелища. Собственно, даже не сами плоты показались необычными, а лошади на плотах. Они стояли по три-четыре на каждом, спокойно жевали траву, встряхивали мордами, звенели уздечками – словно в ночном на лугу пребывали, а не во власти водной стихии. Видать, эти сугубо сухопутные существа были привычными рекоходами. Плотогоны, или, как говорят на Оби, плауки, отогнав древесину в уговоренное место, обычно возвращаются домой верхом, вот лошади и привыкли: в одну сторону – рекой, в другую – по берегу.

Крылов смотрел на реку, облокотившись о перила, пытался понять незнакомую и скрытую силу, заключенную в воде. Отчего, право же, так влечет к себе движение воды? Заораживает, не отпускает...

«Жизнь человека постепенна. Она как бы вытекает, скользит из одного состояния в другое. Так не приметно растет трава, затем жолкнет и вянет: сама по себе, без вмешательства косы-литовки. Отчего же любит человек всевозможные рубежи, скачки, вехи? Новый год, дни рождений, месяцы, часы... Географические границы, условные и прочие линии и черты, – размышлял Крылов, стоя в штурвальной рубке у смотрового окна. – Вот и я соблазнился любезным предложением капитана воочию рассмотреть границу двух рек. Будто возможна она, водяная?»

– Извольте не отвлекаться, – предупредил капитан и приказал снизить ход.

Усы по бокам носовой части парохода опали, пена перестала вспухать, и судно медленно заскользило по воде.

Сверху, из рубки, было хорошо видно, как широко и могуче катила Обь свои желтые глинистые воды. И вдруг – вода пропадала, словно уходила внутрь земли, в гигантский колодец! Изломистая, неровная, но отчетливо видимая полоса темной, почти черной воды заступала путь Оби, преграждала ее движение.

Это было воистину удивительное, захватывающее зрелище! Крылов не верил своим глазам: впервые в жизни он видел водяную границу. Отчего сие происходит?

– Очень простая разгадка, любезный Порфирий Никитич, – насладившись удивлением гостя, охотно принялся объяснять капитан. – Обва – «снежная вода». Так зовут ее здешние люди. А ложе у нее песчаное да глинистое, отчего вода и засорена. А Тома, или, как ее по-современному кличут, Томь, – другого характера. Поспокойней. Поуже. И вода в ней чистейшая. Но по сравнению с обской кажется черной. Вот ведь что поразительно: чистейшая, а кажется черной!

– Да, действительно, две реки, два характера.

Капитан, воодушевленный этим замечанием, принялся рассказывать все, что знал, что накопил в плаваниях по сибирским рекам. О том, как трудны здесь переходы: капитаны ходят почти вслепую, сносных лоций не имеется. Как бесчинствуют местные корсары, из озорства сбивают бакены, топят лодки, норвят в бок садануть или корму прошибить. Глаз да глаз нужен.

Он любил свое дело. Оторви от реки, от парохода – тотчас и погибнет. К весне так изнудится, что и не узнать; худющий, словно медведь-шатун, и такой же злой. Ну, а когда уж река вскрыется – живет!

Не единожды вмерзал со своими суденышками. Он ведь не сразу на этот двухпалубный красавец попал; приходилось и лодководцем служить, и плотогонничать, и завознями командовать.

Одинок-с. Так и не решился обзавестись семейством в силу беспокойствия своей натуры. В свободное время грешит собирательством – очень любит всякие сказы, бывальщины. Уж изрядную тетрадочку накопил. Вот и все, что составляет его жизненное счастье.

Крылов посмотрел на «человека в мундире» с запоздалым раскаянием: не встречай людей по одежке; вот тебе и наука...

– Как-то на Енисее пришлось мне с одним шаманом на зимовье жить, – продолжал капитан. – Из кетов шаман. Это сибирский такой местный народец – кеты. Охотники, рыболовы – словом, таежные люди, темные. Но этот Какемпту был, доложу я вам, образованнейший для своего племени человек! О Пушкине слышал... спрашиваю, откуда слышал-то? Говорит: духилунги сообщили. Хитрец... Меня Нучьжой звал, русским, то есть. Правда, перевод по-ихнему не того-с... «Господин с соплями». Дескать, на морозе «тает». Но об этом я уж потом проведал, а пока жили, не знал. Нучьжа так Нучьжа, мне все едино, лишь бы зиму перемолчать, баржу с мануфактурой укараулить. Между прочим, Какемпту сильно помог мне, в его владениях товар целехонек сохранился.

Капитан замолчал, поглощенный управлением парохода, и заговорил опять, когда крутой изгиб реки благополучно остался позади.

– Так о чем это я? Ну да, о шамане... Вот он сказывал, что и его народец жил на Томи, потом на север откочевал, подальше от русских нучьж с «огненными языками». С ружьями, значит. Шаман говорил, что они эту речку Томь называли Темной рекой. За цвет. На севере есть красные, железистые, коричневые – те, что из болот идут. Томь на особицу. Темная. И город стал по ее имени называться.

– Темноводск, значит?

– Выходит, так, – согласился капитан. – А вам известно, как томичей дразнят?

– Помилуйте, откуда же? Я ведь впервые – и по этим рекам, и в город, – ответил Крылов, приглатываясь услышать от собеседника еще что-нибудь занятное.

– О томичах старая слава нехорошая шла. Де, пьяницы, воры, распутники да урывай-алтынники. Это, говорят, в древности было. А уж потом, позже, томичей аленичами стали звать. Либо моксунники да бакланы, либо аленичи. А сейчас гужедами дразнят. Томские мужики – гужеды. Извозом промышляют, значит.

– Любопытно.

– Есть прибабка такая... Когда Томским городом управляли еще коменданты, а не губернаторы, приехал новый комендант. Жители послали к нему своих лучших людей бить челом. «Челом бьем твоей чести, кормилец!» – «Здравствуйте. Ну, как у вас дела-то ведутся?» – «Как, батюшка, ведутся? Известно как. Все таперича по страху божескому делается». – «А кто у вас старше всех?» – «Старше-то? А вот Корнил Корнилович, что за Ушайкой живет, ему, почитай, за сто лет». – «Да я не о том! Кого вы слушаетесь?» – «А-а... Слушаем, батюшка, по праздникам Миканора Стахиича, он хоша и слепой, а презнатно на скрипиче играет». – «Эх, какие вы... Мне надо знать, кого вы боитесь?» – «Ну, это бык поповский, кормилец, такой бодун, что страсть». – «Да вы меня не понимаете, любезные! Я спрашиваю, кто у вас выше всех?» – «О, это Алена из-за озера. Она подит-кось с сажень будет ростом». Комендант рассердился и прогнал их: «Вон, аленичи, вон пошли от меня!».

Капитан рассмеялся – так забавно, в лицах, на голоса передал капитан речь увертливых, себе на уме томских мужичков, дурачивших напыщенного коменданта.

– Моксунники да бакланы – оттого, что на Томи моксуна да водяной птицы баклана много было, – закончил капитан.

– Что же сейчас, господин капитан, по-вашему, представляет Томский город?

Капитан задумался. Долго искал подходящее емкое слово, которым можно было бы обрисовать город.

– Купеческий картузище, – сказал наконец. – Запойный торгаш – вот что такое Томск ныне!

– Ну-у, – недоверчиво протянул Крылов. – Я слышал иное... Что там и просвещенные люди есть.

– Не спорю, – ответил капитан и упрямо склонил голову. – Только их, как и везде, немного. А цилиндров, да котелков, да картузов – тьма. В Томске все торгуют. И всем. Перевалка – не город. Постоялый двор. Да вы и сами уже увидите.

Капитан задумался. Крылов не стал более докучать вопросами, и какое-то время они оба молча глядели в окно, на реку.

Темная река – Тома-Томь оказалась живописной приятной дорогой. Сновали суденышки, трубными кликами переговаривались пароходы, по берегам то и дело возникали поселения. Пароход дважды подходил к самым большим поселкам, и на пристанях шла бойкая торговля овощами, ягодами, грибами, прошлогодними кедровыми орехами; там же, у пристаней, высились поленницы березовых чурбашек, заготовленных для паровой тяги.

Незаметно длилось время, и вот уже капитан угадал городские скотобойни, указующие на то, что город близок.

– Слава богу, приехали благополучно, – капитан снял фуражку и набожно перекрестился. – Не сели на мель, не порвались на карче, не потеряли баржу с переселенцами, и котел не взорвался...

Это походило на молитву.

За скотобойнями потянулись захлапленные корой и щепой лесные склады, грузовые пристани, и только потом пароход, дав длинный и два коротких гудка, резко сбавил скорость и начал сворачивать влево, словно принимавшись к берегу, ища место для остановки.

– Отдать носовую! – зычно и торжественно скомандовал через рупор капитан. – Отдать кормовую!

На палубах поднялась суета. У сходен образовалась толчея, пробка; обнаружилось множество детей, они пищали и хныкали, зажатые взрослыми.

– Ну, прощайте, господин пароходный доктор, – подал руку капитан. – Не поминайте лихом. Дай вам Бог хорошо устроиться на новом месте.

– Спасибо. Прощайте и вы. Душевно рад был познакомиться, – ответил Крылов.

Капитан приложил руку к козырьку форменной фуражки, отдавая честь.

И снова легкая грусть омрачила неизбежное расставание. Такова уж натура Крылова; оседлый, любящий постоянство во всем, он избрал для себя кочевую жизнь и от этого часто страдал. В кочевой жизни встречались и уходили интересные люди, менялись пейзажи, города, и этот привкус временности отравлял многие радостные и полезные впечатления.

– Барин!..

Крылов обернулся на зов скорее инстинктивно, чем из-за того, что узнал голос.

Пытаясь противостоять толпе, к нему пробиралась недавняя пациентка. Растрепались бесовы косы, вот-вот упадет платок... Девушка предпринимала отчаянные усилия, чтобы высвободиться из беспорядочного скопления пассажиров, запрудивших нижнюю палубу, но людское течение уносило ее все дальше и дальше.

Крылов снял фуражку и издали помахал, прощаясь. Лицо девушки осветилось радостной улыбкой – словно маячок зажегся в сумерках, – она закивала головой, что-то крикнула еще...

Хоть так, да попрощался с бедной красавицей «пароходный доктор». А мальчонку, из уха которого тащил кедровый орех, он даже не увидел напоследок. Видимо, утатила его за руку малоумная мать, не дала проститься. Иначе он нашел бы Крылова. Обязательно. Ведь не отходил в последние дни, как нитка за иголкой следовал... Сядет Крылов на прогулочной палубе книжку почитать – и он тут как тут. Примостится возле трапа, ножичком, подаренным ему Крыловым, какую-нибудь щепочку строгают, стружки в подол рубахи собирает да поглядывает на «дохтура» смышленными глазами...

Мысленно пожелал и ему Крылов удачи и счастья. Потверже надвинул на лоб фуражку и, когда пришел его черед, двинулся по шатким сходням на берег.

Сошедших с парохода встречала небольшая, но чрезвычайно подвижная и плотная толпа бойких агентов. Не угодно ли посредничество? По сходным условиям – на кирпичеделательный завод господина Пичугина! А чем хуже винокуренное производство? Для своих работников хозяин отпускает ведро спирта за один рубль с гривенником. Пей не хочу, гуляй, пока теща в девках... Может, кто интересуется оптовыми закупками? Тогда пожалте на биржу... Коней! Кому коней?

К Крылову подскочил верткий кузнечик в котелке, при жиденьких усиках над манерными, как у барышни, губками.

– Не жалаете ли в номера? Меблированные, с оркестрионом. Полный домашний пансион! Хозяйка... м-м-м... От рубля до трех-с...

– В месяц?

– В сутки-с, – захихикал кузнечик, давая понять, что и он не чуждается юмора.

– Нет, благодарю, не нужно. У меня есть квартира, – отказался Крылов, поразившись дороговизне жилищных услуг.

Отчаянно поторговавшись, Пономарев сумел сговорить несколько ломовых подвод томских гужеедов по тридцать копеек. И хотя рядом то же самое предлагали извозчики за двадцать копеек – в любой конец, с ветерком! – Крылов не стал вмешиваться в горячие действия Ивана Петровича и вместе с Габитовым принялся устанавливать и закреплять веревками драгоценный груз на сговоренный транспорт. Слава Богу, последний переход... Так скорей же, скорей...

Даже самому себе Крылов не признавался, что устал, вымотался за время пути, может быть, не столько физически, сколько нравственно. Хотелось прекратить наконец это движение в неизвестность, остановиться, перевести дух.

И все-таки, несмотря на усталость, он с любопытством и даже с некоторым возбуждением всматривался в облик нового для него города, который отныне должен был стать родным.

Оставив по левую руку красивую Богоявленскую церковь и небольшую часовню Иверской Иконы Божьей Матери, о которой возница тут же и рассказал, что построена она давно, четверть века назад, что такая же есть еще только в Москве, а больше нигде, и что зовут ее

духовными воротами Томска, потому что когда кто уезжает и кто приезжает, ставят здесь по обычаю свечу – перед дальней дорогой или по прибытии, и что «барину тоже-ть так сделать надобно, и тогда томское дело его будет успешно».

Обоз очутился на площади, где стоял длинный фасонистый биржевой корпус. Суета мелких торговых сошек возле этого добротного здания с белыми колоннами превращалась в солидную купеческую круговерть. У биржевого корпуса стояли обозы с хорошо упакованным товаром; добрые лошади, способные к дальним дорогам, уткнулись мордами в торбы с овсом; переговаривались мужики, приказчики, купцы. Сюда же, к бирже, повезли ящики с книгами для университета. Крылов проводил их взглядом и зашагал дальше.

Слова капитана «о купеческом торгаше-картузище» здесь получили наинагляднейшее подтверждение. Шум. Толчея. Самые невероятные запахи и звуки.

Обоз медленно продвигался по заполненной народом Базарно-Гостинодворской площади с обилием всевозможных лавок. Рыбные, мясные и обжорные ряды – «Снедь», «Невинное питье» – тянулись через весь рынок. На самом берегу Томи велось какое-то строительство. «Питейное заведение «Славянский базар», – объяснил возница. – Штоб гулять и реку смотреть».

Бросались в глаза изделия местных щепников – колеса, дуги, телеги-долгуши, сноповозки, сани-одры... Их было много, словно город весь намеревался куда-то переезжать.

Кожевенные лавки проводили путников кислым звериным запахом, и Миллионная улица, на которую выплескивался перекипевший пестрый рынок, встретила редкими, но добротными кирпичными и деревянными особняками, огромными вывесками, рекламой и прочими знаками торгующих фирм и домов.

Е.Х. Некрасова уговаривала покупать оружие и охотничьи припасы только у нее. Гостиница «Сибирское подворье» зазывала в дешевые номера с домашним столом и по ценам вне конкуренции. «Антон Эрлангер и К<sup>о</sup>» обещал наилучшим образом устроить любую мукомольную мельницу, а также пиво- и мыловаренные заводы; он же рекламировал новинку – керосино-калильную лампу и фонарь своей системы А.Э.К. силой свечения в 120 и выше свечей...

Сразу же за деревянным мостом развернулось какое-то грандиозное строительство. Из трактира за ним выдиралась залихватская музыка.

По сю сторону простиралась Конная площадь, переполненная босым людом, конными переводчиками, маклерами и жульем. Старик-леля говорил, что конный дух помогает при туберкулезе. Если это так, то здесь можно смело устраивать лечебницу – так густ и колоритен был этот дух. Кондитерская Бронислава, с ее терпким запахом ванили и шоколада, дело поправить не могла; казалось, что и в ней пьют кофе тоже лошади.

День стоял солнечный, марный. В зыбком горячем воздухе плыли кирпичные трубы, затейливые башенки на крышах, окаймленные ажурными чугунными решетками, блестели купола церквей. Их было много, они обступали весь город, прорастая в нем крупными диковинными цветами, куда ни глянь – всюду позолота и голубизна божьих домов... Зрелище было таким ярким, ударяло в глаза роскошеством тонов, чеканностью форм, и если бы не жалкие лачуги, развалюхи, жилища черных людей, лепившиеся повсюду на берегах Ушайки, среди каменных особняков, – этой картиной богатого сибирского «картузища» можно было бы восхититься.

Церковь золотом облита.  
Пред оборванной толпой...

Крылов догнал последнюю подводку, пошел рядом, придерживаясь за край. Дорога круто взяла вверх, и лошади с напряжением тащили груз, и навстречу им с грохотом, оставляя долго

не опадающий шлейф густой пыли, спускались пролетки, линейки, телеги, дроги, раскатившиеся под уклон возы.

Улица взобралась наконец на террасу, и далее, от Почтамта, вновь пошла ровная дорога. Справа, внизу, выплыла темная татарская мечеть. Через некоторое время началась площадь-пустырь с полувысохшим озерком, над которым возвышалось внушительное здание Троицкого кафедрального собора с обвалившимся куполом. Часть собора была одета в строительные леса, и на них копошились крохотные фигурки людей. Значительно дальше, в глубине пустыря, напоминала о себе немецкая кирха. Рядом с ней – воинские казармы и арестантские роты – двухэтажное здание с решетками. Из солдатской чайной доносился глухой, будто сквозь вату, шум.

Купола, кресты, колокольни, питейные заведения...

Вдруг все это, минуту назад блестящее и игравшее на солнце яркими красками, потускнело, как бы подернулось серым – откуда ни возьмись небо завалила громадная туча. Полоснула молния и сыпанул крупный холодный дождь. Сразу же сделалось неуютно, сумрачно. Земля начала ползти под ногами, залоснились глинистые проплешины, зачавкала, зажевала под сапогами грязь.

– Н-но!

Заходили по мокрым лошадиным спинам длинные ремни. Кособочась, продавливая глубокие колеи, телеги со скрипом поворотили к невысоким строгой формы каменным воротам.

– Приехали! Тпру... Вот, барин, тебе и университет.

Крылов уж и сам видел, что университет.

Белоколонное, исполненное величия и строгой красоты здание будто бы из-под земли выросло, разбросав вокруг себя взрытую почву, останки вырубленных деревьев, неизбежный строительный мусор. Пустырь перед ним не ухожен, редкие деревья и кусты перед корпусом не спасали общего вида, но сама обширная площадь, березовая роща на пологих холмах представляли собой зрелище небезрадостное.

Въехав в университетскую усадьбу, подводы смешались, часть из них продолжала двигаться по направлению к левому крылу, часть остановилась. Послышались возгласы: «Куда ставить? Барин, распорядись!»

Но Крылов не знал, как распорядиться. Он вошел с последней подводой, мокрый, грязный, досадуя на внезапный дождь, на то, что с таким тщанием приготовленные с утра на пароходе парадный сюртук и крахмальная белая сорочка со стоячим воротником приобрели жалкий вид, недоумевая наконец, отчего их никто не встречает, не ждет.

Однако вскоре все разъяснилось: их все-таки ждали. На крыльце появился невысокий седоголовый человек в щеголеватом полудомашнем сюртуке французского покроя, с шейным платком вместо галстука. Он развел руками – как бы от удивления или большой радости, и когда Крылов приблизился, сошел с крыльца и заключил его в объятия.

– Наконец-то, Порфирий Никитич, дорогой! С прибытием!

Это был Флоринский, попечитель учебного округа и ректор Томского университета. Волнение его было искренним, и встреча получилась сердечной.

Смущенно и вместе с тем растроганно смотрел Крылов на человека, столь круто изменившего его судьбу. Безбородый, с густыми седыми усами, с короткой немецкой стрижкой точёна голова, прямоносый, Василий Маркович и впрямь походил на суховатого германца. И лишь по-детски оттопыренные уши да большие грустные глаза несколько нарушали строгость его внешности.

– Как добрались? Благополучно? Ну и слава богу! – Флоринский отстранился от Крылова и осенил себя крестом; оглядел обоз и спросил озабоченно: – Что, много потерь? Хоть половину довели?

– В дороге погибло около десяти растений, – сообщил Крылов. – В одном месте, к пригорю, перевернулась подвода...

– Помилуйте! – обрадованно перебил его попечитель. – Всего лишь десять из семи с лишним сотен?! Да вы чудесник, Порфирий Никитич! Одолеть такой путь с таким-то грузом – и почти ничего не потерять...

«Чудесник» потупил голову, взгляд его уперся в заляпанные сапоги...

Догадавшись о его чувствах, Василий Маркович дружески сжал его локоть и торопливо сказал:

– Но все это потом, потом... Сейчас вам нужно отдохнуть, привести себя в порядок, а затем – милости прошу ко мне и... – он сделал несколько торжественный жест в сторону университета, – ... и в Сибирский храм наук!

– Но я не устал...

– Понимаю, понимаю, – вновь перебил Флоринский. – Не беспокойтесь, Порфирий Никитич, я дам распоряжение, весь груз будет аккуратнейшим образом перенесен во временную пристройку. А вы... Вас проводят в вашу квартиру. Правда, она тоже пока что приспособлена во временном помещении, но мы скоро отстроим дом для ученых сотрудников... Одним словом, располагайтесь! И к семи часам вечера прошу ко мне! Мы с супругой Марией Леонидовной будем рады вас видеть.

Крылов сидел посреди сырого темного сарая на ящике из-под китайского чая и, разложив бумаги на ларе, составлял отчет о командировке – подробное показание своих действий в том, как прибыл, сколь много казенных средств изработал, в каком состоянии доставлен груз.

На душе было смутно, тревожно. Встретить-то его встретили.

На чай пригласили. Слова, лестные для слуха, произнесли. А оранжерейка для растений не закончена! Дали вот этот сарай. Сам Крылов готов хоть в землянке ютиться, но цветы, саженцы... Не юг ведь. Через месяц холода грянут, что тогда? Архитектор не обещает быстро дело повести; пришлось даже на поднятых тонах с ним разговор завершить. Господин попечитель руками разводит, на архитектора ссылается. Павел Петрович Наранович же от Крылова бегаёт. Знающий и любящий свое дело, архитектор вконец измотан строительным недоделом.

До него здесь Арнольд подвизался. Тот самый, кто построил возле Севастополя храм с крышей, унесенной в море первым же крепким ветром. Наделал ошибок и долгов Арнольд да и был таков из Томска. Им, арнольдам, сибирский университет что зайцу барабан. Несвоя земля – хоть криком изойди, не услышат.

Крылов понимал сложности достройки университета, жалел Нарановича. Но ему-то что делать?!

Он почувствовал себя одиноким.

А в Казани теперь начинают поспевать яблоки – тугие, красные, сочные. Их запах сопровождает всюду, проникает в приотворенное окно ботанического кабинета, на время пережимая стойкий сенный дух травохранилища. Как хорошо, бывало, сидишь усердно в своем уголке – и вдруг с характерным знакомым вздохом открывается дубовая дверь... И входит Сергей Иванович Коржинский. Без пяти минут профессор – дела его идут блестяще, диссертация одобрена. Сергей Иванович, Сережа...

Красив, статен, движения быстрые, ловкие. Походка уверенного в себе человека и в то же время непринужденно-изящная. Глаза большие, темно-коричневые, как бы вбирающие все в себя. Несмотря на молодость, Коржинский носит пышную гриву под Менделеева. Буйная шелковистая борода и такие же густые усы имеют благородную конфигурацию. Пиджачные пары сшиты всегда по последней моде. Куда уж Крылову с его простоватостью во всем: в одежде, в манерах, в речи, в происхождении – до аристократического облика Коржинского!

В их троице – Мартьянов, Коржинский, Крылов – общим баловнем был, конечно, он, студент, с юных лет проявивший страстный характер натуралиста, темпераментом увлекавший своих более зрелых по возрасту и жизненному опыту товарищей. Фармацевт Николай Мартьянов и садовник Ботанического сада, провизор с отличием Порфирий Крылов гляделись куда как скромно! Им бы только у рабочих столов затихнуть, закопавшись в книги и травы, или выбрать счастливую минуту и утрепаться в лес, как поддразнивал друзей Коржинский. Эти двое, Крылов и Мартьянов, уже познали вкус черного хлеба самостоятельной работы, свои знания они брали упорным трудом, учась на медные гроши. Впрочем, не в этом дело. Как говорил отрок Акинфий, у каждого своя дорога... В их дружбе вопрос о происхождении и званиях, как счастью, не имел никакого значения.

– Все корпите? – иронически нахмурит, бывало, расчесанные брови Коржинский. – Экий вы, право, упорный! А погодка... Вы только взгляните!

Крылов шурит на неожиданного пришельца усталые, чуточку близорукие глаза и радостно улыбается навстречу гостю. Он знает, что теперь будет так, как того захочет Коржинский. Они отыщут Мартьянова и все вместе «утрепаются» в лес.

– Ну, так что? – тормозит Коржинский медлительного Крылова. – Не слышу бодрого утвердительного возгласа.

– Не могу. Вон сколько листов надо еще обработать...

Коржинский раздосадованно машет руками и устремляется на поиски Мартьянова. Вдвоем они отбирают у Крылова цейсовскую лупу, отдирают от стола и тащат на экскурсию.

Сколько жарких споров слышали окрестные поля и леса! О чем только не рассуждали друзья! Особенно много – о Сибири.

Это волнующее, бесконечно родное слово – Сибирь – частенько срывалось с их уст. То, начитавшись корреспонденций оттуда, из глубинки, вслед за иркутскими журналистами они повторяли: «Сибирь – та же Русь». То, вспомнив статьи Потанина и Ядринцева, горячо бросались в противоположную сторону, и Сибирь представлялась им донельзя своеобразной. «Наш язык груб, наша речь неумела, но мы говорим свое слово. Наша печать – тот же сибирский балаган, отстраиваемый в лесу, а сибирский издатель – тот же простой сельский работник...» Эти слова из газеты «Сибирь» казались им вызовом российскому обывательскому обществу. В них чудился живой отзвук любви к своему краю, «юдоли плача, стенания и скрежета зубовного».

Особенно волновала их фигура Николая Михайловича Ядринцева, страстного сибирофила, писателя-публициста. Его многочисленные выступления в печати, особенно в защиту Сибирского университета, читали с жадностью. А стихотворение «Пельмень», ходившее в списках, в котором говорилось об огромном вкусном чудо-пельмене, лежавшем «между Уралом и Амуром берегами», знали наизусть.

...Но на пире этом званом  
Только избранные были,  
А сибирские желудки  
Почему-то позабыли.

– Вот настоящий интеллигент! – горячо высказывался Коржинский. – За тридцать лет до Ядринцева таким же был Петр Андреевич Словцов. Вся умственная жизнь Сибири! Целое географическое общество! Университет ходячий! То же и Ядринцев для Сибири – даже больше. Защитник ее! А мы? А наши наставники, служители чистой науки?

– Позволь, позволь, – недовольно сводил к переносице густые брови «взятый за нерв» Мартьянов. – Я не люблю, когда ради полемической перебранки бросают камни в наставников. Нужно говорить конкретно, точно. Что касается Словцова и Ядринцева, то я преклоня-

юсь перед ними так же, как и перед сибирским Гумбольдтом, Григорием Николаевичем Потаниным. Но я уважаю и ученых, кои великим трудом своим, без открытой публицистичности, увеличивают славу отчизны. Не всем же, в самом деле, в публицисты себя готовить?

Крылов присоединился и к той, и к другой стороне. Правда для него была где-то посредине. И слово, и дело, и скромный труд – все благо, если исходят от чистого сердца... Ему тоже казалось, что судьба его должна быть непременно связана с Сибирью. Казалось, что она зовет его.

И вот он здесь.

Один, без друзей. Коржинский все еще в Казани. Ждет официального вызова от Флоринского. А Мартьянов давно в Минусинске. Его слово не разошлось с делом. Окончил Казанский университет, работает провизором и... собирает музейные редкости. Уроженец западных губерний России, он выбрал Сибирь и верно ей служит; деятельный, безотказный, сделался любимцем жителей сурового края. В 1877 году Николай организовал Минусинский музей и уже в первый год имел три с половиной тысячи предметов. Сейчас, в 1885-м, их уже двадцать две тысячи! Это ли не чудо? Первый в Сибири образцовый научный склад! Свои каталоги, книги начал выпускать. Вот каким образом решил давний студенческий спор фармацевт Мартьянов.

Друзья, друзья... Как сладостна дружба, как печально одиночество.

«Коль скоро мы не в состоянии переустроить мир по справедливости, надо творить малые добрые дела», – говорил Николай Мартьянов.

Правильно говорил.

...Он расцепил руки. Встал. Еще раз окинул взглядом мрачноватый барак. Ну, что ж, далекие друзья, вы напомнили о себе вовремя. Спасибо. Всколыхнули душу. Наверное, и вам не понравился бы этот сарай. «Неэстетично», – осудил бы Коржинский, но не медля отправился бы сменить крахмальную манишку и новенькую пиджачную пару на рабочий сюртук. А Мартьянов молча принялся бы расставлять горшочки с оранжевыми растениями.

Крылов даже усмехнулся, найдя в чем «подкусить» себя: тебе, Порфирий, легче – не нужно менять крахмальную манишку, ты всю жизнь ходишь в рабочем сюртуке.

Настроение понемногу начало выравниваться. Главное – соорудить железную печь. Дрова найдутся, как же не быть дровам в Сибири-то? Стало быть, первые холода можно выдержать.

А вторые?

На этот вопрос Крылов не рискнул ответить. Придвинул ближе чернилку, лист бумаги и решительно приказал себе сосредоточиться. Поскорее покончить с бумажным прядевом, делом непривлекательным и для него тягостным. Да заняться трудом настоящим: разборкой привезенного гербария, подготовкой к осенним посадкам.

Последнее особенно заботило Крылова. Поскольку он, приват-доцент, принят был в университет на должность ученого садовника, то, стало быть, с него взыщется прежде всего за работы садовые, озеленительные.

Вчерашнего дня он смотрел университетское место. Оно показалось ему живописным, очень пригодным для ботанического сада. Были здесь березовая рощица, тенистые овраги, открытые склоны, самой природой предназначенные для разбивки парка, болотце и даже озерко. Нравилось и то, что все это, в том числе будущий парк, о котором Крылов думал уже как о безотлагательном деле, обрамляла легкая решетка-ограда. Посаженная на высокую дамбу-насыпь – чтобы с улицы вода и грязь не затекали, – скрепленная столбиками из кирпича, она смотрелась просто великолепно. Крылов заметил: в Томске любят высокие глухие заборы, массивные, с большими кольцами ворота, навесы от крыльца до стоек и конюшень. Иногда украшают их резьбой, иногда красят и даже белят. На их фоне университетская ограда

выглядела ажурным кружевом. Сквозь нее хорошо просматривался сам корпус университета (бесспорно красивейшее здание!). Будет виден и парк. Какой? – зависит от его садовника.

Не нарушить бы только первозданную красоту, не исковеркать бездумными начинаниями. Эвон сколько подстриженных чопорных парков «на аглицкий лад» украшает ныне российские города! В Сибири должно быть что-то иное, под стать здешней природе.

Многое предстояло Крылову совершить здесь, а посему не было нужды откладывать на потом ни одно из тех начинаний, которые он задумывал сейчас. Хотя, как в народе говорят, дело середкой крепко. Но и без начала оно не сдвинется с места...

## Первое августа

С перевозом через Томь Крылову повезло: одна-разъединственная лодка на левом берегу словно бы именно его и дожидалась.

– Припозднился, барин? – ласково спросил остроголовый старичонка, высоконький, сухонький, без бровей и ресниц, но с длинной пшеничной бородой, прикрывающей выступ горба на правой стороне груди; точь-в-точь полевой дух, младший братишка леших да водяных, о которых рассказывали успенские ребяташки.

– Это верно, припозднился, – ответил Крылов, радуясь, что с перевозом так славно уладилось. – Старицу пришлось обходить. Много времени потерял.

– Да уж так, с отселева прямой дороги нет. Курьи да петли, да протоки. Речка здесь как хошь гуляет, низина, – согласился «полевой дух», проворно выпутывая толстую веревку из чернотала. – Садись, барин, а я отпехнуся.

Он дождался, когда пассажир усядется на скамеечке, груз свой непонятный – торбочку на широких ремнях да плоскую, будто книжица, коробку – разместит в сухом месте, и только потом легко, по-молодому оттолкнул плоскодонку и впрыгнул на корму. Течение подхватило вертлявую лодчонку, и оба берега – высокий и низкий – зашевелились, поползли в стороны.

– Ноне перевоз на Томи не то-о-т, – заговорил доверчиво старик, усердно махая короткими лопастистыми греблами. – Раньше, бывалоче, выедадут купцы в заречье гулять... Шумота, гармонии на все ряды тянут, девки, будто от щекотки, заливаются! Вечером факела позажгут, по воде плотики с кострами пушают... Красота. Антираес.

По рублю за лодку давивали. А теперь што? Сенопокосники да рыболовы. Да ваш брат, одинокие. Ну, татары на базар когда... Скучно.

Опершись локтями на ботанизирку-папку, Крылов задумчиво глядел на прозрачную воду, на приближающийся сизо-зеленый уступ Лагерного сада. Во все времена старики упрямо твердят: не то ноне, не так... И не понимают, что тоскуют не о сегодняшних переменах, но о своей молодости, когда все вокруг действительно было другим, более ярким, звучным, веселым. Странная, хрупкая, словно белый мох-ягель, пора юности... Знакомый Крылову врач-психиатр так и говорил: «Прошел, миновал благополучно юность, проживет человек и дальше. Жизнь ломает не человека, а его молодость. И если сломана молодость, загублена и сама жизнь».

Вспомнились Акинфий и девушка с бесовыми косами. Где-то они сейчас? По какому острию бредут? Ощущение трагической судьбы этих молодых людей, волею случая знакомых Крылову, нет-нет да и посещало его. Скрытая страсть одного и необыкновенная красота другой ставили в особо опасные условия их обоих. Как-то выдержат они...

– Берегись, барин, – предупредил старик, и лодка тупо уткнулась в каменистый берег.

Крылов вылез из неустойчивого суденышка, отдал полтинник. Обрадованный щедрой платой, перевозчик поклонился в пояс – борода мазнула по мокрой гальке.

– Удачливой тебе дороги, барин!

Взобравшись по тропе наверх, Крылов немного постоял на обрыве, провожая взглядом закатное солнце.

Хороши, по-своему необыкновенны подгородные места вокруг Томска! Холмы, неглубокие впадины, прозрачно-светлые речушки и крохотные озера, разнопородный лес, неожиданные наплывы черно-зеленых, похожих на кучевые облака, кедровников, невестины хороводы белого дерева – березы, алые пятна рябиновых и калиновых зарослей – все это складывалось в картину яркую и неповторимую.

В первые дни Крылов ходил оглушенный этим великолепием и простором. Ему не хотелось возвращаться в пыльный и шумный город. Но дело, ради которого он бродил в этих

живописных окрестностях, напоминало о себе разбухшей ботанизированной да вот этой, холщовой своедельной торбочкой, набитой растениями. Собранное богатство необходимо было срочно рассортировать, привести в порядок, дабы не превратить научную коллекцию в никому не нужные пучки ломкого сена. И он торопился в город, домой.

Первые же экскурсии дали свыше трехсот видов туземной флоры, никем дотоле не описанной. Как ботаник Крылов был счастлив. Несколько видов зверобоя, горечавка полулежачая, щитовник, борщевик, сладкая трава, дикий чеснок-черемшан, заросли иван-чая, кандыка, брусники, кермека Гмелина, кровохлебки, изобилие ягодников, рябины, черемухи, хмеля... Знакомые и незнакомые виды растений будоражили воображение, хотелось сразу, немедленно собрать их в огромный букет, рассмотреть, понять, выделить полезные человеку... Световой день, который летом в Сибири длится значительно дольше, чем в Европейском Зауралье, пролетал, как единый миг.

Крылов поправил на плече увесистую торбу, подтянул потуже матерчатые завязки на походной папке и, с сожалением покидая берег Томи, зашагал между берез Лагерного сада к Симоновской улице, по которой пролегла самая короткая дорога к университету.

С заречной стороны, подгоняемая бойким ветром, напознала темная туча. Она шла низко и как бы нехотя, примериваясь, где бы опустошиться. Первые капли, крупные и редкие, пробили сатиновую рубаху Крылова, заставили убыстрить шаг. Ливень, из тех, которые как из ведра, настиг его недалеко от кирпичных сараев, за Тюремным переулком. Решив немного переждать, Крылов вошел в один из них.

Остановился у дверей. Потер глаза, привыкая к сумраку рабочего помещения.

То, что он увидел, поразило его, поначалу показалось нереальной, ненастоящей картиной. В глубине сарая медленно, в непонятном ритме и угрюмом молчании топтали глину босыми жилистыми ногами полуголые, оборванные мужчины. Здесь же, у их ног, такие же испытанные горем и нуждой женщины вручную делали кирпичи. Тоже молчаливые, раньше времени состарившиеся дети таскали сырые изделия, похожие на маленькие гробики, куда-то дальше, в конец длинного приземистого строения.

Знобящий дух сырой глины. Тусклый свет из незастекленных прорезей у самой крыши. Сквозняки. Монотонная работа.

На Крылова никто внимания не обратил. Ни на секунду не оборвался трудовой ритм, и только где-то в глубине сарая возникла невнятная протяжная песня, такая же унылая, как сам труд, как лица работников.

На кресте сидит вольна пташечка,  
Вольна пташечка, разсоловьюшка,  
Далеко глядит, на сине море...

Мальчуган лет восьми, пронося мимо ведро с известью, хрипло бросил:

– Бойся!

Крылов посторонился. На душе сделалось стыдно, тоскливо, будто он сам лично виновен был в этой адовой картине натужного труда, в хриплом говоре ребенка-мужчины, в нищете и грязи...

Ему доводилось бывать на кирпичных заводах – с вагонетками, с лошадьми, большими печами для обжига; в Томске работало несколько подобных фабричонок, и труд на них был не из чистых. Но о существовании вот таких сараев с примитивной ручной выделкой кирпича, с такими ужасными условиями – он даже не подозревал. Вот, значит, из чего выстроен белый университетский корпус... Как не стоять ему в веках, коль скреплен он детским потом и слезами...

Не выдержав растущего в душе натяжения, мучаясь без вины виноватый, он вышагнул из сарая и, не обращая внимания на хлеставший дождь, ожесточенно месь грязь, двинулся к дому.

В университетскую ограду пришел до нитки промокший, потеряв где-то по дороге походную свою кепочку. И только здесь заметил, что картонная ботанизирка раскисла до основания, и многие растения для засушивания не годятся. Зареченская экскурсия почти вся пошла прахом.

Не заходя домой, Крылов пошел в дровяник и долго, до изнурения, рубил дрова...

...Пономарев с трудом отобрал у него топор.

– Это же форменное истязание! Разве ж так можно? Мы с Габитычем с ног сбились, стол накрыли, господин попечитель обещался быть, а вы дрова заготавливаете! Как прикажете вас понимать? Фанфаронство али капрыз?

– Фанфаронство, – опомнился Крылов; в самом деле, сегодня ж первое августа, день его рождения, тридцать пять лет стукнуло... – Ты, как всегда, прав, как всегда, в точку, любезный Иван Петрович. Ладно, каюсь. Веди меня...

Небольшая квартирка в университетском флигеле сияла чистотой и светом. Расставлены по стенам полки с книгами. Топорщит шершавые листочки погибавший было ванька-мокрый, скромный домашний цветок. Шаят, горят жаром, без пламени, березовые поленца в самодельном камине. Почвиковает в клетке щегол. На столе хрустальный графинчик с можжевелевой настойкой, поздравительная депеша от Машеньки.

Крылов с благодарностью посмотрел на Ивана Петровича. Усилием воли отодвинув видение кирпичеделательного сарая, – не забыл, нет! – отодвинул. Тридцать пять лет... Эх, кабы дни ангелов приносили одну только радость...

Господин попечитель Василий Маркович Флоринский не зря имел репутацию точного и обязательного человека. Ровно в девять вечера о его появлении возвестил медный колокольчик в прихожей.

Крылов вышел встречать.

Сановный гость был не один, с супругой.

Крылов принял у Марии Леонидовны летнюю накидку, а также трость, шляпу и макинтош Василия Марковича. Плащ из непромокаемой прорезиненной ткани – изобретение шотландского химика Чарльза Макинтоша – был чудо как хорош: новенький, легкий, на белой шелковой подкладке, просторный, словно римская тога. Василий Маркович одеваться любил и не жалел, видимо, средств на модные вещи.

– Милости прошу в комнаты, – пригласил Крылов, смущаясь бог знает отчего и ругая себя за это; ну, подумаешь, зашел на чашку чая начальник с супругой, что ж теперь – в трепет входить?

Мария Леонидовна, обладавшая чутким и добрым сердцем, догадалась о смятении хозяина и ободряюще улыбнулась ему. Ее большие серые глаза засияли дружеским расположением.

– О, да вы недурно разместились! – похвалила она, оглядывая нехитрое убранство крыловского жилища. – И книг у вас изрядное количество. Ботаника, география... Гумбольдт, Ледебур, Миллер...

– Благодарю вас, Мария Леонидовна, – ответил Крылов, чувствуя, как проклятая робость постепенно проходит. – Библиотека у меня действительно, в основном по специальности подобрана. За что не раз получал упреки от моей супруги. Она любит французские романы и исследовательскую литературу, к коим я равнодушен, и порой сердится, когда я забываю их выписывать.

– Ах, я тоже обожаю всякие авантюрные книги! – подхватила госпожа Флоринская, опускаясь в кожаное кресло с высокой спинкой. – Рокамболь у Понсон дю Террайля – это необыкновенный преступник. Это вор-джентльмен, и его обаянию трудно противиться.

– Да? – иронически переспросил Василий Маркович. – Что-то я не припомню в своей библиотеке этих самых рокамблей...

– И не припомните, друг мой! – с вызовом сказала Мария Леонидовна и повертела на пальчике золоченым ключиком, пристегнутым к поясу изящной цепочкой. – Они все покоятся в моем шкапчике, – и, обращаясь к Крылову, продолжила: – Габорио и Доил, без сомнения, прекрасные авторы. И мне, русской патриотке, жаль, что «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского уступают западным писателям в живости изложения.

– Простите, не осведомлен в этом вопросе. Не читал Крестовского, – повинулся Крылов.

А Флоринский взмолился:

– Матушка, помилуй, совсем уморила ты нас с Порфирием Никитичем своими дойлами и крестовскими!

Мария Леонидовна кинула на мужа обидчивый взгляд, хотела было что-то сказать в отместку, но тут подоспел расторопный Иван Петрович с пирогом на китайском фарфоровом блюде, сделал глазами – и Крылов, подчиняясь его знаку, пригласил гостей к столу.

От пирога распространялся рыбный дух, смешанный с запахом пропеченного теста. Иван Петрович сиял, ожидая похвалы.

– А пирог недурен, – сказала Мария Леонидовна, откусав кусочек, положенный на ее тарелку. – Сами готовили?

– Так точно-с. Сам, – Иван Петрович чуть не прослезился от умиления. – Сибирский пирог-топтанник. Клади в него все, что съедобно: рыбы пупки, печень, кишочки, молоки...

Рука госпожи Флоринской дрогнула, и лицо ее выразило растерянность.

– Нет-нет, не сомневайтесь! – поспешил ее успокоить Пономарев. – Я и кусочки стерляди положил!

– Благодарю, – ответила Мария Леонидовна. – Я, пожалуй, съем еще свекольного салата.

Несмотря на этот маленький инцидент, пирог именинника все же наполовину был съеден. Разговор мало-помалу выправился, задевая легкие, малозначительные темы: о погоде, которая вроде бы и ничего, да порой проявляет себя капризно, как вот сегодня, когда ни с того ни с сего потянуло из мокрого угла, о газетных новостях...

Тут уж Иван Петрович не преминул вставить свое слово, стараясь вновь завладеть вниманием дамы. Слово его было посвящено... автоматам, механизмам, которые подражают движению живого существа и «сходствуют с этим существом в наружных формах».

– В древности были известны многие автоматы, – с увлечением рассказывал Пономарев. – Деревянный летавший голубь Архиты Тарентского – 408 год до Рождения Христа, а также летавший металлический орел и ползающая улитка Дмитрия Фалерейского. Но самое главное – андроид Птоломея – Филадельфа. Он, как пишут древние авторы, производил огромное впечатление! В средние века появилась говорящая голова Роджера Бэкона, летающие муха и орел Региомонтануса и ходячий по комнате андроид Альберта Великого!

– Да это же целое научное исследование! – заметил с улыбкой Флоринский. – Я поражен вашей памятью, Иван Петрович!

Польщенный, Пономарев повел тему далее.

– А в 18-м веке появились новые автоматы. Флейтист и утка Вокансона. Девица-андроид, игравшая на фортепиано, мальчик, писавший с прописи несколько фраз, и андроид-рисовальщик, выполнивший несколько весьма отчетливых рисунков. Все они суть изобретения братьев-швейцарцев Петра и Генриха Дроз.

– Что ж ты из отечественной истории никого не приводишь? – упрекнул родственника Крылов. – Разве на Руси мало изобретателей?

– Совершенно точно, – согласился Иван Петрович и, наморщив лоб, извлек из своей действительно бездонной и беспорядочной памяти русское имя: – Кулибин! Мой одноименник – Иван Петрович Кулибин! У него есть зеркальный фонарь и замечательные часы...

Мария Леонидовна была в совершеннейшем восторге от небывалой осведомленности Ивана Петровича. У них завязался обособленный разговор. Пользуясь этим, Крылов и Флоринский удалились в кабинет – выкурить по трубочке «амерфортского».

Как-то незаметно, сама по себе, их беседа сошла на дела.

– Когда я вернулся из инспекторской поездки по губернии, – благожелательным тоном начал Флоринский, – то не узнал университетского места. Поломанные во время строительства деревья убраны, дорожки расчищены, работы в оранжерее идут полным ходом. Как это вам удалось за столь короткое время?

Крылов повел головой, как бы отстраняя похвалу в свой адрес, и глуховато кашлянул:

– Вот с оранжерейкой, Василий Маркович, как раз беда.

– Что такое?

– Архитектор не ставит рабочих, говорит, не время. Крышу занизил, – Крылов загорячился. – А когда время? Когда все померзнет в сарае? А он в это время подрядился купол Троицкого собора перекрывать...

– Ну что вы, успокойтесь, – нотка неудовольствия скользнула в мягком голосе Флоринского. – Померзнуть не дадим, не для того мы вас из Казани выписали. А относительно архитектора – это несправедливо. Я ведь знаю, вы с ним имели уже удовольствие схватываться. Нет, нет, он не жаловался! Из других источников знаю, – сделал протестующее движение Флоринский. – Господин Наранович человек молодой, большого опыта в подобных строительствах до сего времени не имел. Но он чрезвычайно старателен, где может, удешевляет стройку, что при наших-то средствах... – он вздохнул, давая понять, как отягощен грузом обязательств и забот. – Что касается купола собора, то это я ему позволил. Да-с. Кто ж, кроме нас, в силах здесь совершить сие богоугодное деяние?

– Я не против богоугодных деяний, – пытаюсь смирить горячность, ответил Крылов. – Я против того, чтобы наносить вред делу в самом зародыше. Крышу надобно в оранжерейке поднять. Утеплить получше.

– Хорошо, мы подумаем, – пообещал попечитель, и это «мы» прозвучало не как «мы с Нарановичем», а как «мы, Флоринский». – Расскажите-ка лучше, что в Казани?

– В Казани все по-прежнему. Профессора кто наукой занимается, кто в летнее турне по Европе с семьями отправились, кто в экспедициях. Студенты на вакациях. В городе тихо. Яблоки поспевают... Кстати, Василий Маркович, я осмелюсь напомнить, что молодой и талантливый ботаник Коржинский ждет вашего решения относительно своей судьбы.

– Да, да, я знаю, – рассеянно проговорил Флоринский, погрузившись в воспоминание о своем жительство в Казани. – Ах, яблоки, яблоки... Здесь, в Сибири, этого не видать.

– Отчего же? – не согласился Крылов. – Вот уже отстроимся, заведем отдел плодовых культур, и с яблонями, бог даст, попробуем. Отчего не попробовать.

– Это правильно, – одобрил Флоринский. – Ботанический сад в Томске должен быть первым на всю Сибирь и непревзойденным!

Крылову не хотелось разрушать горделивое настроение дорогого гостя, но язык сам, против воли, произнес:

– Простите, Василий Маркович, уж не первый...

– Как это? – вскинулся Флоринский. – Нет, позвольте...

– Были в Сибири ботанические сады, – тихо, но упрямо продолжил Крылов. – Да не сберегли их.

– Где именно? Когда?

– В середине прошлого, восемнадцатого, столетия. В Тобольске. Помните, указ государя Петра по Тобольску? Чтобы «улицы сделать и размеривать прямы, чтоб двумя телегами возможно было разъезжаться свободно...»

– Припоминаю, – отозвался Флоринский и, скрестив на груди маленькие, как у женщины, руки, с интересом посмотрел на хозяина.

– А далее – в этом же указе – об аптекарском огороде сказано, – продолжал Крылов, не замечая, как начинает сбиваться на лекционный тон. – Первый ботанический сад, а ныне Аптекарский огород, был основан по указу Петра в 1706 году в Москве при Медико-хирургической академии. В 1713 году появился второй – в Санкт-Петербурге. Примерно в это же время лесной знатель Фокель заложил свою знаменитую листовенничную рощу близ Петербурга и проводил там опыты. В Тобольске же Аптекарский огород появился лет на пятнадцать позже фокелевских работ. Он-то и стал в Сибири первым... И еще доподлинно известно, что некий Лаксман в 1765 году создал в Барнауле небольшой садец. Потом, когда он из Барнаула съехал, его детище Петр Иванович Шангин воссоздал. По сути дела Шангин является первым ученым садовником на Алтае. В 1812–1815 годах в барнаульском ботаническом саду благополучно произрастали представители китайской и алтайской флоры...

– Да-а... Великий государь был в России Петр Алексеевич, – с чувством произнес Флоринский, пропуская мимо ушей неизвестные ему имена Лаксмана и Шангина. – Его аптекарские огороды в Петербурге и в Москве вон в какие научные гнезда возросли! Вот бы и нам, Порфирий Никитич, Москву да Петербург переплюнуть?

Крылов улыбнулся: очень уж откровенно, по-детски прозвучала жажда господина попечителя переплюнуть; он почувствовал теплое чувство к своему начальнику.

– Переплюнуть, быть может, и не удастся, Василий Маркович, а вот свое обличье приобрести возможно.

– Ну-ка, извольте, – искренно оживился попечитель. – Весьма любопытно узнать вашу точку зрения на сей предмет!

Ну, что ж, коли Василий Маркович желает знать точку зрения садовника Крылова, он не станет скрытничать, поделится заветными думами...

Много изучил Крылов стилей садово-паркового искусства. Уважал доведенную до совершенства эстетику растений у японцев.

Их вековые три культа, три всенародные поклонения – цветам, луне и снегу – считал непревзойденным в своей философии и изяществе. Для японца дерево живет само по себе, стихийно, если его не растит человек. Если же человек приложил к нему хоть малую толику своего труда – это уже искусство. Глубокая мысль лежит в основе понятия о прекрасном в японской эстетике. Здоровое, стройное дерево, например прямоствольная сосна – да, оно красиво, приятно для глаз. Но сосна, выросшая в морщинах скалы, искривленная, гнутая всеми ветрами, потерявшая часть веток в суровую зиму, испытывающая постоянно то жажду, то голод, – и выжившая-таки! – это сосна прекрасна вдвойне.

Нравится Крылову и традиционный ансамбль японского сада: крошка-пруд или нить ручейка, горка с растениями, горбатый мостик. Песок – символ безбрежного океана. Изогнутый мост – соединение природы и человека... В тихий восторг привели его как-то стихи:

Старые деревья... Тропинки для человека нет.

Глубокие горы. Откуда-то звон колокола.

Голос ручья захлебывается на острых камнях.

А вот разделение парков на три типа: сад камней, сад воды, сад деревьев – казалось искусственным. И увлечение японских чудодеев-садовников карликовыми деревьями тоже не одобрял. Ну, что за клен – в миниатюрном горшочке, с карандашным стволиком и копеечными листочками?! Может быть, это кому и забавно... Ведь потешаются до сих пор остроусловы над затеей Петра Великого создать в Российском государстве породу маленьких людей. Во всех подробностях передают историческое событие, как 14 ноября 1710 года Петр I сочетал браком

своего любимого карла Якова Волкова с карлицей царицы Прасковьи Федоровны, на свадьбе были все карлы Москвы и Петербурга – 72 человека. А Крылову об этом думать больно. Насилие над природой чудится.

Любопытна ему как садовнику и английская манера. Просторные чистовины с подстриженными деревьями, ровная щетина однотонной травы, одинокие деревья на оголенных холмах.

Не лишен приятности и облик французских парков: пышный, непринужденный, бьющий на декор и развлекательность.

А всего милее сердцу стиль русского естественного ландшафта... И не потому, что сам Крылов русский, нет! Он знал сколько угодно соотечественников германо-, англо- и прочих – филов. Встречались ему и немцы славянофильского направления, и французы, равнодушные ко всему французскому. Так что не в национальности дело. Точнее не в ней одной.

Для русского человека природа – это не просто пейзаж, который может веселить или прискучивать; прежде всего, это место обитания, мера труда – пашни, сенокосные луга, лес-кормилец, рыбистые реки... Но самое главное – простор, свобода, Дар божий.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,  
Но далеко еще до зимних первых бурь —  
И льется чистая и теплая лазурь  
На отдыхающее поле.

В сознании Крылова эти строки тючевского творения почему-то соединились с ощущением русского приволья, простора, хотя об этом в стихах не было сказано ни слова. Он любил их повторять мысленно. Особенно – «на отдыхающее поле».

Классический русский садово-парковый ансамбль по сути своей был максимально приближен к естественной природе. Он не терпит насилия. К сожалению, об этом как-то стали забывать. За классику пошли выдаваться сады Царского Села, где мода английская вытесняла голландскую и наоборот, где стволы деревьев чистили и мыли, как спины породистых лошадей, а талант садовников употребляли прежде всего на то, чтобы потрафить, удивить, поразить...

– Помилуйте, Порфирий Никитич! – полушутя поднял руки Флоринский. – Уж вам и Царское Село не угодило? Красота, богом дарованная...

– Человеком, – поправил Крылов и замолчал, догадываясь, что где-то переоткрылся в собственных чувствах и оттого выглядит нелепо и, может быть, даже смешно.

Однако Флоринский смотрел без насмешки: вот, однако, ты каков, выписанный из Казани ученый садовник! Да такой горы свернет... Именно он, Порфирий Крылов, и нужен был Томскому университету. Они созданы друг для друга. Флоринский не ошибся...

– Я готов дружески помогать во всех ваших замыслах, – торжественно произнес Василий Маркович, чистосердечно полагая, что уж с Крыловым-то ему делить нечего и, следовательно, дружеские отношения вполне возможны меж ними. – Вы только не стесняйтесь. Буду рад.

Они осушили еще по рюмочке настойки – за здоровье именинника, а также за творческое содружество в стенах благословенного Сибирского университета – во славу отчизны и русской науки!

Лицо Флоринского покраснелось, утратило ту невидимую маску высокого чина, которая ставила преграду на пути более тесного общения с ним; Василий Маркович сделался чрезвычайно милым и доступным. Казалось, что с ним можно было сейчас говорить обо всем.

– Я вот когда ехал на пароходе, про Обского Старика слышал, – сказал Крылов, помня, что Флоринский, биограф великого хирурга Николая Ивановича Пирогова, сам известный врач-гинеколог, автор многих научных статей по медицине, увлекается историей, археологией,

этнографией и фольклором. – Слышал. Но ничего не понял. Кажется, он пользуется популярностью среди местного населения. Вам что-нибудь о нем известно?

– О да, это действительно, местная знаменитость, – оживился Флоринский. – Один из остяцких идолов. Элемент язычества. Вообще, должен вам сказать, тема эта чрезвычайно интересна для исследователя. Богатейшее и невозделанное научное поле! Остяко-самоеды – пригнетенный народец, вымирающий. Как, впрочем, и многие другие сибирские инородцы. И верование у них неразвитое. Полупервобытное. Вот, к примеру, что мне известно... Многие племена в Сибири, самоеды в том числе, поклоняются горам и деревьям. Испытывают к ним, так сказать, особое уважение и удивление. В честь какого-нибудь дерева они вполне могут салютовать, стрелять из лука.

– Недурно, – заметил Крылов. – Деревья стоят салюта!

– Да, может быть, – улыбнулся Флоринский. – Так вот, в жертву деревьям, своим идолам они несут шкурки, те стрелы, которые убили много зверей на охоте, серебряные деньги, лоскутки и прочие предметы. В Шаркальском городке мне приходилось видеть Ортиха-истухана. Это друг и помощник их верховного божества Торыма. Представляете картину: без рук, без ног, лицо серебряное, голова деревянная. Одет в суконный кафтан. Ему тоже во время приношений охотники мажут рожу мясом, жирной рыбой, приговаривая: «Ешь, наш добрый бог! И давай нам рыбу!» А есть у них некто Мастерко... Это уже в другом месте, близ села Троицкое видел я. Так этот Мастерко – обыкновенный мешок, набитый другими, меньшими мешками, и сверху туго завязанный... И все. Да-а, насколько православная вера наша истиннее, человечнее, мудрее! – Флоринский медленно, с чувством перекрестился. – Представить себе не могу, как это можно поклоняться обыкновенному мешку!

– А я, напротив, не вижу в этом ничего не обычного, – возразил Крылов. – Поклоняются же золотым истуканам, каменным...

– Возможно, – не стал возражать Флоринский. – Однако мешок, как предмет культовый, для нас пример новый, неожиданный. Впрочем, насколько я успел понять, в Сибири многое для нас, ученых, оказывается новым.

Слушать Василия Марковича интересно. О своих поездках и археологических находках он говорил с жаром, с видимым удовольствием. Похвалился тем, что передал в музей университета более четырех тысяч предметов из собственной коллекции по археологии и этнографии. Пусть останутся потомкам, послужат науке, обучению студентов... Только бы поскорей Государь позволил начать занятия... Много, ох много еще противников у Сибирского университета! Однако ж, вот он, университет! Построен. Стоит гордо. Пройдешь по нему – и в душе надежда ширится: не зря, нет, не даром жизнь прожита, что-то и после тебя останется нетленно...

Вечер удался. Задушевный разговор не прерывался. Постукивали за окном редкие капли дождя. В комнате было тепло и сухо.

Василий Маркович рассказал о своем главном творении, об университете. Крылов был первым ученым сотрудником, приехавшим на службу в его университет, вот-вот подъедет из Казани еще историк и археолог Степан Кирович Кузнецов, взятый на должность библиотекаря, но Крылов был первым, а потому Флоринский и рассказывал так подробно и горячо именно ему – все, чем сам был захвачен в настоящее время. О том, что первоначальный план березовой рощи был составлен еще Гавриилом Степановичем Батеньковым в пору его работы в Томске еще до выступления на Сенатской площади, после чего этот превосходный инженер, изобретатель и архитектор получил два пожизненных титула: узник Петропавловской крепости и декабрист. Что отцы города, купечество, выделили для будущего храма наук один из лучших городских участков. Что храм наук строился вручную. Всего один механизм и применялся в возведении университета – водоотливная железная машина, приводимая в движение... людьми. И все-таки, благодаря настойчивости Флоринского, основные работы были выполнены

в прошлом, 1884 году! Построены главный корпус, здание анатомического театра, Дом общежития для студентов, каменные оранжереи (достраиваются), здание газового завода, помещение служб с баней, кучерскими, прачечной, ледниками, каретниками и конюшней. И вот, полюбуйтесь – уложен торцовый тротуар перед университетом и вся усадьба огорожена! Заканчивается установка газового освещения и система снабжения водой. Под горой, там, где будет аптекарский огород, уже заложена сеть подземных труб для сбора в особые колодцы отличной ключевой воды. Где еще в Сибири вы найдете столь высоко поставленное дело? Нигде!

Сколь тревог, волнений и докуки пришлось испытать, по каким кабинетам выхаживать, горы бумаги на статьи, прошения, записки извести. Пока дело это сдвинулось! Что Ядринцев... мальчишка, ему было 21 год, когда он ратовал за Сибирский университет. Собирался на взносы и пожертвования построить и открыть его.

Не-е-т, это государственное дело, никаким одиночкам оно не под силу, никакой «шапке по кругу». Хотя, надо отдать должное известному публицисту, он помог своими письмами склонить и начальствующих людей, и общественное мнение в пользу Томска. Дело в том, что поначалу было принято решение строить университет в Омске: дескать, центр обширного края, в нем живет сам генерал-губернатор... Но Флоринский думал иначе. И когда полный неуспех его чаяниям, казалось, был предreshен, Василий Маркович выступил в петербургской газете «Новое время», 2 сентября 1876 года, со статьей «Пригоден ли Омск для университета?»

«Неужто в Петербурге воображают, что Омск чуть ли не столица Сибири и что кроме него нельзя найти лучшего города для университета? Открыть университет в Омске, значит похоронить его... Настоящий Омск напоминает военные поселения с казенной постройкой... Каждый смотрит на пребывание здесь, как на временный бивуак... Омск ничего не может дать университету, кроме чиновничьего характера, неудобства жизни и бедствия студентам... Человек науки в Омске цениться не будет. Другое дело в Томске. Там не университет пойдет за обществом, а общество за университетом... В Омске науку будут терпеть, в Томске лелеять, ибо это будет гордость города, цвет его и слава...»

И подпись – «Старый сибиряк».

– Так это были вы? – удивился Крылов. – А я считал, что статью, наделавшую столько резонансу, написал Потанин.

– Нет, это был я, – с гордостью подтвердил Флоринский, умалчивая о том, что в то время карьера его повисла на волоске. – Меня подкупил энтузиазм томских предпринимателей, как только речь заходила об университете в их городе. В Омске – тишина, равнодушие. В 1803 году, за год до образования Томской губернии, сын русского промышленника Павел Демидов, образованнейший человек, выпускник Геттингенского университета, обучавшийся в Швеции у Карла Линнея, пожертвовал 100 тысяч на строительство университета в Киеве и Тобольске. Если в Киеве университет открыт в 1834 году, то до азиатского дело дошло только сейчас. И не в Тобольске, а в Томске. Здесь, подобно Демидову, золотопромышленник Захарий Михайлович Цибульский пожертвовал на университет сто тысяч. Промышленники и купцы из других сибирских городов обещали финансовую помощь.

В пользу Томска высказались Барнаул, Верхнеудинск, Енисейск, Иркутск, Мариинск, Нерчинск... Правда, Красноярск не дал ответа.

Да Тюмень переметнулась «за Омск». Так вот, дорогой Порфирий Никитич, и свершилось...

Флоринский замолчал. Кабы его слова да Государю в уши... Нет до сей поры высочайшего повеления об открытии уже построенного университета. Хоть сейчас можно студентов звать – ан нельзя. В череде препятствий это – самое загадочное.

Крылов понимал его. Столько сил отдать великому делу, предчувствовать его завершение – и не иметь возможности сказать себе: «Вот я разрешил задачу!»

– Бог милостив, Василий Маркович, – тихо сказал он, желая его утешить. – Государь откликнется. Должно быть, опять болен...

– Все может быть, – очнулся от задумчивости Флоринский. – Будем ждать и не терять надежду. У нас с вами так много еще неделанного...

Они вернулись в гостиную, где неутомимый Пономарев развлекал Марию Леонидовну. Флоринский начал прощаться. Мария Леонидовна тотчас подхватила:

– Действительно, время позднее. Наша дочь Ольгушка, должно быть заждалась нас. Премного благодарны за приятный вечер, Порфирий Никитич. Прошу бывать у нас. Без всяких церемоний.

Она так нежно и преданно посмотрела на мужа: правильно ли я говорю, друг мой? – что у Крылова защемило в груди. Какая прекрасная супружеская пара... Всем бы так...

Гостей проводили до главного корпуса, где была квартира попечителя. Иван Петрович, совершивший несколько большее количество «опрокидончиков» настойки, чем следовало бы, вел себя шумно, по-детски громко радовался каждой звезде на небе. Мария Леонидовна смеялась чему-то. Флоринский снисходительно улыбался и говорил о том, что Петр I нич-че-го не боялся, а боялся одних тараканов... И что он, Флоринский, боится не тараканов, а людей с эластической совестью, что ему по душе такие люди, как ученый садовник Крылов...

Крылов слушал его, Пономарева, покорно запрокидывал голову, пытаясь отыскать Медведицу; странное и непривычное состояние владело им – хотелось, как во сне, оторваться от земли и пролететь хоть немного... Но невидимый груз придавливал его к земле, и с трудом давалось движение по тихому, уснувшему парку. Может быть, это был груз тридцати пяти лет, всей его жизни.

На кресте сидит вольна пташечка,  
Вольна пташечка, разсолвьюшка...

## Пожар

Пожар в тепличке случился поздно вечером. Университетский сторож, постукивая деревянной колотушкой, обошел главный корпус и вдруг заметил, что над оранжереями расплзается пятно, похожее на пролитые чернила.

Сторож уронил колотушку в сугроб, подцепил полы суконного армяка и, высоко вскидывая тощие длинные ноги, бросился через наметенные вчерашним буранцем снежные языки. Когда понял, что горит тепличка, свернул к флигелю и забарабанил в ставни.

– Пожар, Порфирий Никитич, горим!!

Крылов еще не ложился; в задумчивости ходил по комнате, не снимая рабочего сюртука, словно бы предчувствовал, что может еще кому-нибудь понадобиться в такой поздний час. Услышав крики, выскочил на крыльцо.

– Что? Что такое? – отрывисто переспросил – и уже сам понял, догадался: случилось ужасное...

Не дожидаясь ответа от упыхавшегося сторожа, побежал к теплицам.

Из лопнувшей рамы валом валил густой дым.

Сильным ударом Крылов сбил замок, рванул на себя дверь – в лицо ударила плотная волна душливой гари.

Сорвав с себя сюртук, он принялся сбивать пламя, подползавшее к деревянным настилам.

– Закрывай дверь! Поморозишь! – крикнул он сторожу, не отдавая отчета в том, что происходит; самым страшным казался почему-то не пожар, а раскрытая дверь, через которую белым низовым облаком врвался сорокаградусный мороз.

Пламя отступало неохотно, коварно. Затихнув в одном месте, неожиданно облизывало стеллаж с растениями. Крылов закашлялся. Чьи-то сильные руки обхватили его сзади и выпихнули в тамбур. Габитов занял его место и ловко принялся орудовать сырой мешковиной. Лицо Хуснутдина предусмотрительно обмотано полотенцем. Поверх него сумрачным весельем горели черные, глубоко запавшие глаза.

Шум, причитания. Это Пономарев метался из угла в угол, чихал, кашлял, стонал – и всем только мешал. Отдышавшись, Крылов послал Ивана Петровича за подмогой, а сам встал с Габитовым.

Но Пономареву не пришлось далеко идти – навстречу ему из флигеля бежали встревоженные люди: университетский библиотекарь Степан Кирович Кузнецов, сосед Крылова, с ним еще кто-то... Степан Кирович бежал как-то боком, придерживая полы широкой и длинной шинели. Сухощавый, среднего роста, неловкий в движениях, он походил на подростка, которого неизвестно зачем обрядили во взрослое платье, приклеили реденькую бороденку и густые усы и дали звание приват-доцента, наградив при этом необычайно густым мужским голосом.

Подоспел сторож с ведрами. Образовалась хоть реденькая, но цепочка.

Шипело обуглившееся дерево. Летели наземь глиняные горшки и разбивались в нервной сутолоке, так свойственной всем пожарам, большим и малым.

Рядом с Крыловым в цепочке оказался незнакомец, бедно одетый, но вполне интеллигентный человек. С невзрачной внешностью, он выглядел старообразно из-за сплошной седины, охватившей его голову, и невероятной худобы. В его лице было что-то особенное, необыкновенное – сразу не понять что. Скорей всего, умные, навсегда печальные глаза, глаза человека, много чего повидавшего на своем веку.

Он действовал сноровисто, без лишних движений, без паники и суеты. Не отступил, когда прямо к ногам вывалился на них вдруг сноп огня, нашедшего для себя отличную пищу в виде сухих березовых метел, неизвестно кем и когда засунутых за печь. Только предложил:

- Может быть, все-таки сообщить в пожарную часть?
- Крылов не успел ничего ответить.
- Нет! – раздался у них за спиной властный голос.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.